**ЯРОМИРА КОЛАРОВА**

**О чем не сказала Гедвика**

ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского С.ПАРХОМОВСКОЙ

Милиционер:

26декабря в 0 часов 12 минут при очередном обходе мною была замечена подозрительная личность, сидевшая на каменной ограде без перчаток, без шапки или какого иного головного убора. Решив, что означенная особа в нетрезвом со­стоянии и может замерзнуть, я окликнул ее. Она вздрогнула, подняла голову, но заметила ли меня, не знаю, потому что казалась незрячей. Тут я разглядел, что это подросток женского пола, посиневший от холода. Волосы светлые, глаза карие, на носу очки в черной оправе.

Девочка была очень худа, легко одета, несмотря на сильный мо­роз, и ни на один из моих вопросов не отвечала. Я препроводил ее в отделение, чтобы она обогрелась, а заодно и поела. Девочка никак не сопротивлялась, только молчала всю дорогу и по прибытии в отде­ление. Она выпила две чашки чаю, съела две порции гусятины, кусок хлеба и сдобную булку, из чего можно было заключить, что она сильно проголодалась. И тут же уснула прямо у стола. Мы уложили ее на служебную койку и запросили местный детский дом, не исчезла ли какая из их воспитанниц. Ответ был отрицательный, но при опи­сании примет дежурная воспитательница высказала предположение, что, возможно, это Гедвика Покорна, возвращенная родителям в кон­це августа текущего года. При опознании предположение подтверди­лось и после консультации с директором детского дома было решено девочку вновь определить туда до выяснения дела. Проснувшись, она продолжала молчать, ничем не выражая ни своего согласия, ни отка­за, и только тупо смотрела сквозь нас, будто ничего не видя. Воспи­тательница заверила, что девочке будет оказана необходимая меди­цинская помощь и что они в свою очередь тоже наведут справки, по какой причине и каким образом вышеупомянутая Гедвика Покорна возвратилась из Праги в наш город и почему сидела на ограде непо­далеку от детского дома.

Директор детского дома:

На наш запрос родители Гедвики ответили, что она ушла не по­прощавшись, вероятно сразу после сочельника. Утром 25 декабря ее уже дома не было. Мать сообщила, что в возвращении девочки не

заинтересована, ибо за полгода та не привыкла к дому и постоянно проявляла неблагодарность, о чем свидетельствует и ее побег в канун рождества.

Гедвика до конца августа, то есть почти до двенадцати лет, жила в разных детских учреждениях, у нас она находилась со школьного возраста. Особых трудностей с ее воспитанием у нас никогда не воз­никало. Она легко приспосабливается к обстановке, довольно пассив­на, охотно подчиняется детям, даже младшим по возрасту. В коллек­тиве ее любят, потому что она всеми восхищается, а себя ставит на последнее место.

Успеваемость у нее ниже средней, прилежание и память хорошие, но она совершенно лишена честолюбия. Принимая во внимание ее здоровье, к занятиям мы ее особенно не принуждаем, считаем, что с несложной работой она справится успешно.

Ее здоровье постоянно доставляло нам хлопоты. Гедвика — аль­бинос, кроме того, у нее пониженное зрение, при искусственном осве­щении видит плохо. Очень восприимчива к инфекциям, однако серь­езных болезней у нее не обнаружено, доктор считает, что всему виной ее альбинизм. В милицейском протоколе отмечено, что девочка очень худа. Гедвика всегда была такой и, несмотря на усиленное питание, заметно в весе не прибавила. Ест хорошо, любит сладости.

По решению суда Гедвику вернули матери. Мы руководствова­лись тем, что даже самый лучший детский дом не может заменить ребенку семью. Родители Гедвики разошлись еще до ее рождения. По неизвестным причинам мать ребенком не интересовалась, отец же девочку навещал регулярно и носил ей подарки. Возможно, именно его посещения и отталкивали мать. Отец Гедвики — один из тех, кого считают тунеядцами в нашем обществе. Он вел беспорядочную жизнь, и это в конце концов привело его к принудительной госпита­лизации.

Мать Гедвики вышла за него замуж очень молодой, вероятно по неопытности. После развода она закончила среднюю школу, вскоре вышла замуж вторично и родила еще двоих детей. Обследование ее новой семьи показало, что родители примерно заботятся о детях, хорошо обеспечены и положительно относятся к нашему реше­нию.

Когда родной отец Гедвики был лишен прав отцовства, препятст­вий для возвращения Гедвики к матери не оставалось. На первое заседание суда мать по неизвестным причинам не явилась, но на вто­ром выразила желание взять ребенка в свою новую семью. Ее муж также был согласен с решением.

Гедвика любила отца, но, принимая во внимание ее характер, можно было рассчитывать, что она привяжется и к матери, и к ее младшим детям. Мы были уверены, что она очень быстро освоится в новой семье. Как я уже говорила, Гедвика — ребенок общительный, легко привыкает к коллективу.

Ее бегство из дома меня чрезвычайно удивило. Я тут же приехала в детский дом и провела с ней целый день. Она не отвечала на мои вопросы и все время смотрела куда-то в сторону, как-то, я бы даже сказала, пренебрежительно. От еды она сначала не отказалась, но стоило мне посмотреть на нее, как она тут же перестала есть и уставилась куда-то в пространство.

Даже обстоятельный медицинский осмотр не дал никаких резуль­татов, не было обнаружено никакого заболевания или следов насилия. Во время осмотра Гедвика на вопросы врача и сестры не отвечала. В школу ходит, письменные работы выполняет, но учителям не отве­чает, никто не может добиться от нее ни звука.

Я считаю, что лучше всего некоторое время выждать, может быть, воспитательницам и детям удастся сломить ее молчание, в противном случае ее придется поместить в психиатрическую больницу.

**Сотрудница отдела социального обеспечения:**

Гедвика – и молчит? Это же просто уму непостижимо, такой птенчик, такая крошка, от одного ее вида сердце сжимается, ручонки у нее как ощипанные крылышки.

Как сейчас ее вижу. Вдруг как вскрикнет: «Аисты, аисты!» — и к окошку прильнет, и плечики поднимет, если бы открыто было окно, кажется, упорхнула бы вслед за ними.

Я до сих пор слышу ее голосок: «Аисты, аисты», а потом: «Гриб, ой, красный гриб», и тут же: «Яблочко, я чуть не сорвала его; а вон заяц, живой заяц, представляете, это же заяц»,— и так всю дорогу от Остравы до самой Праги.

Я думала, жара ее сморит, да где там, сама бы я тут же вздремнула, а она знай свое: «Домик, посмотрите, какой красивый домик, как бы я хотела жить в таком домике», и вдруг: «Пруд!», и тут же: «Кладбище!», и что-то еще и еще, в конце концов люди на нас даже оглядываться стали.

Сами знаете, какой народ любопытный, но я сделала каменное лицо, чтобы не лезли с расспросами.

Гедвику я раньше не знала, а она ко мне сразу потянулась: такой котеночек, скажешь ей ласковое слово, она примостится у тебя на коленях и мурлычет. Просто не представляю, кто мог ее так обидеть. Я уже на пенсии, но что из этого, работаю сиделкой и еще в Национальном комитете, в отделе социального обеспечения, нас мало, работка, как говорится, не сахар. Раньше я думала, что тут особых нервов не требуется, это вам не уход за больными, но ничего подобного, выходит, все одно, что тело, что душа, сколько беды ни видишь, а всякий раз переживаешь.

Я сама вызвалась отвезти девочку, у меня в Праге внучек, озор­ник, каких мало. Ему еще и двух годков не исполнилось, а он уже все лопочет, не баба говорит, а бабушка. Это невестка его научила, хорошая она женщина, мы с ней ладим, может, еще потому, что живем далеко друг от друга. Вот я и подумала: отдам девочку, побуду со своими, еще и к Градчанам схожу, я так люблю смотреть на них от реки. В Остраву - то я замуж вышла, теперь уже привыкла, но в Прагу меня все равно тянет, хоть и грязно там, и разрыто все до не­возможности. Сто пятьдесят крон на дорогу — это для меня расход немалый, но ребенка-то ведь все равно кому-нибудь пришлось бы отвозить.

Поехали мы дневным поездом, места заняли хорошие. Гедвика устроилась поудобнее, расправила платьице на коленках, она такая худенькая, просто сердце сжимается. Мой бы сказал, что она чисто паучок, одни ножки торчат.

Была б она моя, я бы ей ресницы и брови чуть подвела, детям, правда, это не делают, но все на нее пялятся, и оно, конечно, ей не очень приятно. И я сама старалась не смотреть, но ее ресницы меня словно притягивали, в жизни я не видела таких глаз. Белые ресницы на пол-лица, а глаза красновато-коричневые, хорошо еще, что бед­няжка носит очки, не так заметно.

Я ее спросила, рада ли она, что домой едет, а она своими глази­щами на меня уставилась и молчит, только смотрит.

Она какая-то замедленная, мой бы сказал — туповатая, ответа из нее сразу не выжмешь.

— Не знаю,— вымолвила наконец, но, право же, над таким отве­том раздумыват**ь** было нечего.

Когда я поближе ее узнала, то поняла, что не такая уж она тупая, как кажется, просто сперва выжидает, что вы от нее хотите услы­шать, понимаете ли, у нее просто никакого собственного мнения нет.

Да, так о чем же это я говорила? Ага, поехали мы, значит, днев­ным поездом, и поесть нам было негде, перед отъездом я всегда вол­нуюсь, но как только сяду в купе, успокаиваюсь. После первой же станции я предложила перекусить, у меня были с собой отбивные, я их до последней минуты в холодильнике держала, чтоб не испор­тились.

Гедвике дали в дорогу сверток. Казалось бы, что тут плохого, но у меня даже слезы на глаза навернулись. Взяла я этот пакет, вынула из него два бутерброда с сухой колбасой, два треугольничка сыра, два яйца, на крону печенья и несколько зеленых яблочек, и так жалко мне ее стало. Было в этом детдомовском завтраке что-то такое груст­ное, казенное, что и словом не выразишь!

А как эта худышка уплетает, вы себе и представить не можете: и отбивную взяла, и пирожок, без всякого смущения, а когда чай пила, то было видно, как каждый глоток по ее горлышку катится. Кожа у нее прозрачная и совсем не загорелая, хотя уже август был на исходе, но не бледная, а скорее розоватая, губы ярко-красные, при­дет время — она, может, и похорошеет, если малость окрепнет и рес­нички подкрасит. Некоторым такие необычные даже нравятся.

И за едой она без устали тараторила, чирикала, как воробышек:

− У нас в детдоме сегодня тоже были биточки, биточки с кар­тошкой, салат из огурцов и фруктовое пирожное.

− Ты любишь пирожные?

− Ужасно. А больше всего трубочки. Папа мне иногда и по че­тыре штуки покупал.

− И ты съедала?

− Все четыре сразу.

Она улыбнулась и вдруг погрустнела.

− Он теперь в больнице, но меня к нему не пускают.

− Да, верно, ведь детей пускают только с пятнадцати. Значит, через три года. Но к тому времени он уже выздоровеет.

Я знала из ее бумаг, что у него дела плохи, но разве можно ребен­ку все рассказывать, она еще слишком мала, чтобы знать правду.

− Папа приходил бы ко мне каждое воскресенье, но что делать, ведь он охранял пана президента.

К счастью, нас никто не слышал, от жары все клевали носом над книжками или газетами, а в детдоме меня познакомили с ее докумен­тами, прежде чем отдать на мое попечение.

Бог ты мой, чего только этот негодяй не наплел! А еще бедняжка показала мне карточку, он содрал ее с какого-то удостоверения, и на ней все как на ладони: мордочка узенькая, губки бантиком, на лбу кудряшки, какой там мужчина, скорей на бабу похож.

Девочке я его похвалила, конечно, ишь какой франт, говорю, а она вздохнула: хоть бы волосы у нее, мол, были как у него.

− У тебя тоже красивые волосы,— постаралась я ее утешить,— теперь, между прочим, в моде гладкие прически.

− Вот если бы у меня были черные, как у Саши. Саша ужасно красивая, а как загорает — до черноты.

Вспоминала о какой-то Гите и еще о ком-то, угощала меня леден­цами, которые на прощанье насовали ей ребятишки. У нее был ма­ленький чемоданчик, весь потертый и перепачканный, в нем она пря­тала сувениры, всякие мелочи, подаренные подружками, я и смотреть не стала, мое мнение такое, что и дети могут иметь свою личную жизнь. Может, это неправильно, но мне и за собственными детьми противно было подглядывать, и, слава богу, выросли, Енда не обма­нул моих надежд, а Катка, та, правда, любит повеселиться, но и ей мне приходится доверять, куда денешься.

— Гедвика, девочка моя дорогая,— говорю я ей,— я знаю, папу ты любишь, и это прекрасно, но ты пойми, что мама твоя разошлась с ним не от хорошей жизни, лучше ей эту карточку не показывай, спрячь ее подальше.

Она уставилась на меня своими удивительными глазами, ох, чего мне стоило выдержать ее взгляд, лучше не спрашивайте, потом долго смотрела на фотографию и наконец спрятала ее в чемоданчик под разорванную подкладку. Захлопнула крышку и положила на нее руки.

А минуту спустя уже снова весело выкрикивала, чирикала обо всем, что видит вокруг, прижималась ко мне и грызла зеленые ябло­ки. Только в конце пути вдруг сказала:

— Знаете, чего мне хочется? Чтоб дорога не кончалась, чтоб мы все ехали и ехали, и все дальше и дальше.

И в голосе — такая печаль! И еще страх. Конечно, она боялась, что ж тут удивительного, бедная девочка впервые в жизни должна была встретиться с родной матерью, своей собственной мамой, вы понимаете? И для взрослого это не пустяк. А у меня в голове — будто метлой повымели, никак не могу придумать, что бы ей такое сказать, как бы подготовить ее к этой встрече.

— Ничего не бойся, Гедвика, мои нас наверняка встретят, я сыну телеграмму послала.

Она села в уголок, положила голову мне на плечо.

− Теперь уж не спи, видишь, какой лес, Прага совсем близко. Потом она умылась в туалете, и я переодела ее в нарядное платье.

− Вот видишь, как тебе к лицу, они полюбят тебя, не волнуйся. Она слегка улыбнулась, вцепилась в мою руку, как клещами, и уже не отходила ни на шаг. Сын ожидал на перроне, я с облегчением вздохнула: шутка ли, чужой ребенок да еще чемодан, сумка тяжелая и сетка, ведь с пустыми руками не приедешь, а народу везде тьма-тьмущая.

На машине мы доехали до самого места, в Остраве-то у нас район получше, но и тут ничего, дом хороший, скорей всего кооперативный, на лестнице светло-голубые резиновые дорожки, на площадках фику­сы, видно, за порядком жильцы здесь следят.

Когда мы поднимались, слышно было, как Гедвика дышит, корот­ко и быстро, будто затравленный заяц. Ее волнение передалось и мне.

Я позвонила. Дверь открыла она, то есть ее мать. Молодая, строй­ная, хорошо одетая, ну, в общем, такая женщина, на какую посмот­ришь и сразу подумаешь: до чего же ты сама толстая, вспотевшая, растрепанная, одетая невесть как.

— Добрый день,— сказала она,— будьте любезны, переобуйтесь.

Наклонилась и подала нам тапочки.

Мы переобулись. При этом я боялась даже взглянуть на Гедвику, чтобы узнать, чувствует ли она то же, что и я, так же ли у нее зами­рает сердце или она еще маленькая для этого?

Вы понимаете, через двенадцать лет видит свое родное дитя и говорит: будьте любезны, переобуйтесь, представьте себе, будьте любезны, переобуйтесь! Может быть, оно и лучше, чем душещипа­тельная сцена, может, так она прятала свое волнение, я вовсе не хо­чу ее обижать.

Гедвику она оставила в прихожей, а меня провела в комнату, я всегда гордилась тем, как мы нашу квартиру обставили и какая у ме­ня чистота и порядок, но тут я поняла, что живу-то, собственно, в на­стоящей дыре. Все в комнате сияло, как будто бы здесь был другой воздух, другой свет, другие краски. Да, мышонок попал в красивую норку.

— Она здорова? — спросила ее мать.— У меня ведь двое детей, Катержинке еще и трех не исполнилось.Я кипела от злости:

− Гедвика ведь не из больницы приехала, вот вам бумаги, меди­цинскую карту из поликлиники перешлют, распоряжение уже сде­лано.

— Сколько я вам должна?

— Нисколько, за все платит государство.

Я сказала это нарочно с нажимом, потому что она, хоть и при­двинула мне стул, сама продолжала стоять, не предложила даже кофе, а ведь хорошо знала, что мы в дороге без малого целый день, а Гед­вика выехала еще раньше. Я, конечно, и без ее кофе обойдусь, но приличия соблюдать все же надо.

— В таком случае благодарю вас,— сказала она,— ничего друго­го мне не остается.

И открыла дверь.

Гедвика стояла в прихожей на том же месте с чемоданчиком в руке. Она чуть меня не повалила, бросилась мне на шею и — в сле­зы! Ее мокрую мордашку я до смерти не забуду.

— Веди себя хорошо, Гедвика.

Оторвала ее от себя, на лестнице вытерла слезы, ей и себе, я просто вся обревелась, но что было делать, ведь не у чужих же я ее оставляла, а у родной матери, должно же все-таки что-нибудь дрог­нуть в этой красивой холодной даме, Гедвика хорошая девочка, и мать, конечно, привяжется к ней.

— Что с тобой? — спросил сын.— Я ведь жду. Может, рюмочку тебе поднесли, ты так шатаешься?

— Поехали быстрее,— сказала я, и Енда засмеялся. Я вообще-то в машине ездить боюсь, а тут — только бы поскорее уехать и не ду­мать об этом, ведь в конце концов это всего лишь работа, другие после работы отдыхают, дело сделано, ребенок у матери, и я могу быть свободна, заслужила свой отдых.

Но в тот раз никакой радости от поездки к сыну я не получила, в ушах у меня все звенело: «...будьте любезны, переобуйтесь».

Мать:

По своей воле! Да, я взяла ее по своей воле, сама согласилась, но что мне оставалось делать, если муж занимает такое положение? Многие нам завидуют, ждут не дождутся, чтоб он оступился! Мы не можем себе позволить судебный процесс, да еще из-за ребенка.

Какие там законы, для нас нормы совсем другие, чем для осталь­ных. Разве я могу подать заявление об алиментах в Национальный комитет? Отец Гедвики не платит ни кроны, но муж мне не разрешает ничего предпринять. Он убедил меня, что не стоит позориться из-за каких-то двух-трех сотен крон.

Муж мой — прекрасный человек, он никогда ни в чем не упрекал меня, сказал только, что за глупость приходится иной раз расплачи­ваться более дорогой ценой, чем за подлость. Но ведь за мою глу­пость расплачивается он, и это мучит меня, все же совесть у меня есть.

Гедвика обошлась мне за три с лишним месяца в 3 тысячи 263 кроны, у меня все записано, я могу показать, на эту сумму я обделила детей мужа. Я уж не считаю стоимости платьев, что перешила ей из своих, или шерсти от моего свитера, тут только прямые, расходы. Я кажусь себе воровкой, ведь мужу приходится расплачиваться за мои грехи.

Мне было шестнадцать, и я попалась сразу же, как только мать перестала за мной присматривать. Жаль, правда, что я боялась ей в этом признаться. Это была моя ошибка, муж знает, я ничего от него не скрыла, и он меня великодушно простил.

Мама решила, что лучше мне быть разведенной, чем матерью-одиночкой, она была права, я вышла замуж, но с этим негодяем ни­когда не жила, хоть он приходил к нам и угрожал, из-за него нам даже пришлось переехать на другую квартиру. К счастью, его арес­товали, а потом он оставил меня в покое, но все равно отравил мне лучшие годы жизни, и только мой муж вознаградил меня за все это.

И теперь он должен содержать чужого ребенка — я просто от стыда сгораю.

От такого ребенка благодарности не дождешься, красивое пальто ей не понравилось, а вся еда, какой мы ее пичкали, впрок не пошла, она ни грамма не прибавила.

Все равно из нее ничего не получится. Она родилась семимесяч­ной, весила не больше килограмма, и мама еще тогда сказала: ты лучше на нее не смотри, чтобы сердцем к ней не пристать, все равно она не жилец на этом свете.

Мне ее сразу не отдали, нянчились с ней в инкубаторе, а потом я и сама не смогла ее взять, надо было закончить школу, да и к тому же не хотелось, чтобы отец имел повод ходить к нам, не хотелось иметь с ним ничего общего. Теперь он получил по заслугам, мне его нисколько не жаль — что посеешь, то и пожнешь.

Да, Гедвику я приняла, ведь другого выхода не было. За все то время, что она прожила у нас, я делала ей только добро, муж мой — ответственный работник, человек занятой — и то иной раз находил время поговорить с ней, но она ничего не ценит. Не понимает, чем мы жертвуем ради нее, с ее приходом у нас все переменилось, я не могу мужу в глаза смотреть. Своей дочери от первого брака он регулярно помогает деньгами и будет платить, пока она учится, а тут еще дол­жен содержать чужого ребенка.

А кто может поручиться, что в Гедвике не проявятся дурные на­клонности? Ведь она уже сейчас плохо влияет на наших детей, кото­рым мы стараемся уделять как можно больше внимания.

Я думаю, что принуждать Гедвику оставаться у нас бессмыслен­но, если после всего, что мы для нее сделали, она ушла, даже не про­стившись.

То, что она все время молчит, пусть вас не тревожит, придет время — она заговорит, эта девочка себе на уме, в тихом омуте черти водятся.

**Пржемек:**

Прощаться мы не прощались, терпеть этого не могу. Я принес ей тогда фантики от шоколада и положил на тумбочку. И совсем я в нее не влюбился, все это трепотня, мы с ней дружим, просто дружим, нам, детдомовским, надо друг за дружку держаться.

А чего ее защищать? Ей это вовсе ни к чему, ребята ее любят, она не гордая, все им отдает, такая добрая, что и смотреть тошно.

Мы ее прозвали «коровой», это точно, но совсем не в обиду, у нее просто глаза и ресницы как у коровы, ну что в этом плохого? Назы­вали же мы Итку поросенком, и она не обижалась.

Почему она молчит — не знаю, скорее всего ей говорить неохота, и не надо ее заставлять, может, у нее горло болит или язык прикуси­ла. В школе ей могут ставить отметки по письменным, уроки она делает и контрольные пишет. Все к ней пристают, почему молчишь; оставьте ее в покое, и дело с концом.

А кто за нами шпионил? Гита, не иначе. Ее зло берет, что она со мной говорит, а не с ней. Как это я проболтался? А что я такого ска­зал? Что она говорила? А почему бы ей не говорить? Ведь язык-то у нее не отсох.

Она сказала, что покончит с собой, если ее пошлют обратно. Не знаю, что ей там сделали, она ничего не рассказывала, честное пионерское, она только сказала... нет, не могу. Вы станете к ней при­дираться.

Я знаю, что это для ее же пользы, иначе вы от меня не добились бы ни словечка, я не ябеда, это девчачье дело. Ну, она сказала, что все взрослые — это, ну, есть такое слово на «к», не коровы, хуже, и что она никогда с ними разговаривать не станет. Что будет разгова­ривать только с ребятами.

Когда я вырасту? Ну, я понимаю, что все мы скоро вырастем, конечно, но, может, у нее до тех пор это пройдет? Только не отправ­ляйте ее отсюда, вы же ее не отправите, я так не люблю прощаться. Надо же, все мои фантики у нее выбросили.

Гедвика:

(То, о чем она не сказала.)

У меня мама красивая. Ужасно. Ни у кого нет такой красивой мамы. Папа правильно говорил, у нее глаза как звезды. Я буду назы­вать ее Звездочка. Мама Звездочка.

Если отважусь. Голос у нее как шелк. Она сказала: будьте любез­ны, переобуйтесь, не снимите туфли, а будьте любезны, переобуй­тесь. Подала мне тапочки, большие такие, наверное ее. Свои мне дала, добрая.

Но почему я стою в прихожей? Может, это карантин? Сколько же он продлится? Тут еще кто-то ждет. Ну и уродина. Ноги как у цапли, платье висит как на вешалке, господи, да ведь это же я. Это не дверь, а зеркало. Я отражаюсь в нем вся целиком, ужас какой, волосы белые, очки черные, она меня не полюбит, это уж точно.

Кто-то высунул нос. Наверное, братик. Я даже пока не знаю, как его зовут. Какой маленький! Интересно, знает ли он, кто я?

— Хочешь автомобильчик?

— У меня их во-он сколько.

Не хочет, значит. А у меня для него больше ничего нет.

Ее муж. Господи, что это на нем надето? Халат, что ли? А как смотрит! У меня просто ноги подкашиваются. Будто хочет стереть меня с лица земли, а может, меня и нету уже?

Но я есть, я вижу себя в зеркале, я такая же, как и раньше.

— Папа, а нельзя было выбрать что-нибудь получше?

Хлоп, он так его шлепнул, что я чуть не упала, за что он лупит его, ведь он ничего страшного не сказал, у нас ребята еще и не такое говорят, но воспитательница не осмелилась бы поднять руку даже на Броню, хотя та изведет кого хочешь.

Ушли наконец. Он втащил его в комнату, бедняжку. Мой папа лучше. Если бы у него не такая важная работа, он не был бы все время в отъезде, и мама бы с ним осталась.

Вот и тетя, которая меня привезла. Она что, уже уходить соби­рается? Осталась бы хоть на денек. Хотя бы до утра.

— Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет, что вы.

Только бы мама Звездочка не обиделась, я больше не буду пла­кать. Почему она оглядывается? Она, видно, тоже его боится. Но те­перь у нее буду я, я защищу ее.

Сначала, говорит, надо вымыться. Ладно, вымоюсь. Но куда она несет мой чемоданчик? Где я его потом найду? Какая ванна маленькая, я в ней еле помещаюсь.

— Как следует намылься, и волосы тоже. Вшей у тебя нет?

— Конечно нет.

Могла б посмотреть. В карантине осматривают. Пусть бы потрогала мои волосы. Мне так хочется, чтобы она потрогала их. У нее такие руки красивые. Ногти как драгоценные камни. А у меня все время ломаются.

Она задернула занавеску в ванной, чтобы от душа не брызгало на пол. Занавеска как дым. Что-то на ней есть, а что, не могу раз глядеть. Кажется, цветочки.

Мыло лезет в глаза, я тру себя щеткой. Хочу быть такой чистой, чтобы ей понравиться, пусть даже кровь пойдет. У нее кожа как бар­хат, так и хочется погладить.

Она ушла. Как же теперь закрыть душ? Если бы я видела кран, но при таком свете я почти ничего не вижу. Была бы здесь Гита! Она всегда помогала мне в ванной, всегда брала за руку: пойдем, слепыш, не споткнись.

Позвать ее, что ли. Но как? Крикнуть бы: мамочка Звездочка, но не получается, слова застряли в горле.

Ну не кричать же «пани», или «сестричка», или еще как-нибудь. Наша заведующая говорила, что у меня и сестренка есть, но я ее еще не видела.

Я попробую, попробую крикнуть в воду, вода шумит, мамочка, под шум воды мне не стыдно, мамочка, слова на вкус, как мыло, мамочка!

— Готово? — Голос у нее вдруг стал грубым.— Воду закрой сама.

— Да, ладно.

— Ты что, никогда в жизни душа не видела?

— Видела, мы всегда мылись под душем все вместе, только по­рознь с мальчиками, а потом вытирали друг друга.

— Ну, поживей!

Ей, кажется, не понравилось то, что я сказала. Наверное, это очень глупо.

Она дала мне полотенце и мохнатую простыню, главное — не пе­репутать. Постараюсь, у меня темные, а у них светлые, это я отличу.

— Поживей, поживей, ты как в замедленном фильме. Я смеюсь, а она нет.

— Возьми эту пижаму.

У меня ведь своя есть, но в карантине это, наверное, не разреша­ется. Пижама велика. Брюки до самых подмышек, ну и вид у меня!

— Расческа есть?

— Да, в чемоданчике.

— А ну-ка, мигом.

Легко сказать. Очки я нащупала, но они запотели.

Она куда-то спешит. А как пахнет, как чудесно от нее пахнет. Мне и видеть ее не надо, я по запаху ее найду, как пес. Чемоданчик ей тоже не нравится.

— Я вам связала салфеточку, не знаю, понравится ли, а детям привезла куклу и автомобильчик, и подковку для ключей для...

Ну как его называть? Она мне не подсказала. Только вздохнула.

— И это называется расческа?

Нормальная расческа, всего несколько зубьев сломалось, когда Саша причесывалась.

— Один хлам!

Салфеточка ей, кажется, не нравится, я плохо вяжу. Гита хотела мне связать, но воспитательница сказала, что так нельзя, что маму больше обрадует моя собственная работа, пусть даже не очень уме­лая. Глупая она, что ли, в нормальном мире все, наверное, иначе, чем в детдоме.

Я расчесываюсь. С моими волосами это раз-два — и готово. Каких-то пять волосков. Вот у мамы волосы красивые, густые и золотистые, как мед. И наверное, сладкие.

К счастью, она забыла про зубы. Щетку я оставила в детдоме. Все время о ней думала, чтоб не забыть. Гита теперь будет мазать ею туфли. А может, пришлет.

— Садись поешь! Или не хочешь?

Наверняка она приготовила для меня что-нибудь вкусненькое. Интересно, есть ли в Праге трубочки?

— Яйца оставь на утро, на ночь это тяжело. Колбасе ничего не делается, она копченая, выбрасывать жалко.

Колбасы жалко? Посмотрела бы она, как ребята ее под стол швыряют. Хлеб черствый, масло растаяло, в горло не лезет. Почему она на меня смотрит?

— Не хотите кусочек? Или карамельку?

Не сказала ничего, только отвернулась. Наверное, не хочет. Кара­мельки мне дала Гита. Саша подарила открытки, а Пржемек принес в спальню фантики от шоколада. Раньше не хотел дать ни одного — и вдруг принес целую кучу и убежал. Пржемек не любит прощаться, это все знают.

Только бы пить так не хотелось! Если попью, захочу в уборную. А как я ночью эту уборную найду? И печенье мне в горло не лезет.

— Чай пить будешь?

Мне кажется, она хочет, чтоб я отказалась. Скажу «нет».

— А куда я тебя положу, это никого не интересует.

Не знаю, почему кого-то должно интересовать, где я сплю. Спят ведь в спальне, нас там было восемь.

— В кабинете муж не разрешит, в спальне ты тоже спать не мо­жешь, с детьми еще нельзя, пока поставлю тебе раскладушку здесь. Утром быстро уберем.

— Да, я уберу, я умею.

За постель я всегда получала самый высокий балл, стелить я умею. Хоть бы печенье так не крошилось, мам\_ на меня смотрит. Я, кажется, задохнусь.

Попить можно, когда они уснут. Хотя бы из ладошек, чтобы не разбить чего-нибудь в первый же день.

— Послезавтра пойдешь в школу, есть у тебя платье получше?

— Я в нем приехала. В школу мы ходили в пионерской форме. Мое платье ей тоже не нравится. Оно красивое, только мне не идет. Мне ведь ничего не идет. Наверное, мама Звездочка будет стес­няться ходить со мной по улице. Наверное, пошлет меня одну. Или с тем мальчиком,. которого шлепнули и который вдруг стал моим братом.

— И постарайся правильно говорить, а то в школе над тобой бу­дут смеяться.

— Надо мной и так смеются.

Это ей тоже не нравится. Если бы она спросила, я бы ей расска­зала, что меня из-за ресниц прозвали коровой. Пржемек мне нарисо­вал в альбом корову с длинными-предлинными ресницами и с ромаш­кой во рту. У ромашки не хватало лепестков и было написано: «Лю­бит, не любит».

Этот альбом я больше никому не давала, там много пустых лис­тов.

— Как странно, что вы — моя мама. Вы такая красивая. Она вздохнула.

— Боже,— сказала,— это невыносимо.

Не поняла я что-то. До меня не сразу доходит, это все говорят Она делит мои вещи на две кучки. Зачем?

— Это сдашь в утиль, все равно в школе потребуют. А чемодан­чик выбросишь, его и в руки-то взять противно.

— Нет, нет, пожалуйста, не надо.

Почему противно, мне его папа принес, там у меня разные подарки, и альбом, и карамельки, и фантики от шоколада, и каштан, кото­рый мне Пржемек в прошлом году сбил с дерева, и папина карточка, она спрятана под подкладкой.

Она подошла ко мне, она совсем рядом, такая теплая и красивая, мама Звездочка положила руку мне на голову, свою красивую руку положила на мою глупую голову, я так счастлива.

— Гедвика, ты ведь большая девочка, как тебе не стыдно? Вы­брось, доставь мне такую радость.

— Да,— говорю я,— да.

Хочу сказать «нет», но слышу, как говорю «да, да, да».

Я, кажется, умру, если выброшу, непременно умру, потому что там мое сердце, в этом чемоданчике, но пусть я умру, она сказала: «Доставь мне такую радость» — и я доставлю ей такую радость и ум­ру, я бы хотела умереть сейчас, пока ее рука лежит у меня на голове.

Она убрала руку.

В ведре загремело, это посыпались подарки. Она рвет мой чемо­данчик, интересно, что скажет, если выпадет папина карточка?

— Ну вот. А теперь спи спокойно.

— Да. Спокойной ночи.

Спокойной ночи, мама Звездочка, я хотела бы спать с тобой, но я уже большая, ты так сказала.

Она погасила свет. Темнота в Праге зеленая. Зеленая, как вода. В ней можно утонуть.

А тишина в Праге шумная, что-то упало, что-то заскрипело, где-то течет вода, едет машина, слышно радио, а за окном все время стоит зеленая тьма.

На раскладушке лежать неудобно, это потому, что кости у меня торчат, была бы я толстая, как Саша, лежала бы, как на перине.

Что теперь делают ребята? Я даже не знаю, который час, навер­ное, они тоже спят. Пошушукаемся, говорила Гита, когда забиралась ко мне в постель. У Гиты привычка укрываться с головой, она так взбивает одеяло, что воспитательница думает, будто она там лежит, а Гита в это время болтает со мной. Рассказывает свои секреты, наверное, она их выдумывает, ну и что, она очень хорошо выдумы­вает.

Если бы не было так холодно. И если бы не хотелось так пить. Попью потом, когда все уснут. Можно даже потихоньку порыться в ведре, найти папину карточку, альбом и все остальное. Но куда спрятать? Пока негде. Наверное, потом мама выделит мне ящичек.

Если бы не такая темнота. Ой, как я ударилась локтем. Ой-ой-ой, как больно, еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. Вода течет какая-то теплая, ужасно противная.

Как это ведро открывается? Ага, надо нажать на педаль, такие у нас в детдоме тоже были, гигиенические называются. Только бы в темноте не схватить какую-нибудь гадость: гнилое яблоко или чер­вяка, мне ведь может и померещиться.

Как же так, здесь ничего нет, когда же она все вынесла, в ведре пусто, совершенно пусто.

Она сказала: доставь мне такую радость, но какая от этого может быть радость? Она, видно, хочет, чтобы я забыла про детдом... Теперь у тебя будет настоящий дом, сказала заведующая. Наверное, в на­стоящем доме нельзя иметь вещи из приюта. Осталась бы хоть фото­графия, на которой папа снят с густыми, красивыми волосами, теперь они у него уже поредели. Вот бы съесть сейчас пирожное-трубочку, так нет же, карамельки и те пришлось выбросить, как жаль, уж луч­ше бы Саша их себе оставила.

От этой зеленой тьмы я вся взмокла, подушка мокрая, щеки тоже, хоть бы в носу не чесалось, не знаю, куда я задевала платок.

Как вставать, почему вставать, ведь я еще и не спала и уже вста­вать?

— Да, сейчас же.

Я вспомнила, что эта красивая дама в розовом халатике — моя ма­ма, халатик вязаный, весь кружевной, мне бы так не связать ни за какие коврижки, чему ж удивляться, что она мою несчастную сал­феточку выбросила, зачем она ей?

— Ну-ка, бегом умываться, да пошевеливайся.

Иду, мамочка, бегу, куда же я очки девала, очки надо найти, на стол или на стул положила, неужели сунула под раскладушку?

— Ради бога, быстрее и не мельтеши перед глазами!

Видно, она куда-то спешит. Хорошо, что уже день, по крайней мере можно все как следует рассмотреть, какая красивая уборная, и коврик здесь есть, и календарь, вот у нас мальчишкам бы влетело, если бы воспитательница нашла у них такую бесстыдницу, у которой почти все видно. Это, наверное, месяцы написаны, но не по-нашему, а картинок сколько, все надо рассмотреть. Опять кто-то стучит. Это мне.

Только бы не он, он с ходу может и мне влепить. Да, да, уже иду.

К счастью, это мама с девочкой на руках, какая хорошенькая девочка, ну просто прелесть! И на ней такой же кружевной халатик, как у мамы, только подлиннее, как же он называется, ага, секс-фор­ма, так девчонки говорили, кажется, это не очень прилично. Может, и у меня будет такая секс-форма, если я буду хорошо себя вести.

— Как тебя зовут, девочка?

— Ее зовут Катержина, беги скорей умываться!

В ванной включен свет, я снова ничего не вижу, что же на этой занавеске, ага, рыбки, точно, рыбки. Здесь висят мое платье и пижа­ма, она все выстирала, бедная мамочка, еще вчера все мне выстирала своими красивыми руками.

Опять стучит. Гоняет, как зайца.

— Ну, поживей, поживей, вот платье, вытирайся хорошенько. Чем ты вытираешься, это же детское, твое полотенце и простыня вот тут, сколько раз тебе повторять!

Для рук полотенце тоже темное, в настоящем доме все очень сложно, но, может, потом я привыкну. Катержина — красивое имя, о Катержине я книжку читала, как я рада, что смогу с ней поиграть.

Платье еще теплое, мама его выгладила, и оно приятно греет.

— Живей причесывайся! И посиди минуточку в комнате, пока папа позавтракает.

Вот хорошо, что не надо завтракать с ним. Здесь все как в сказке или как в замке в Градце, куда мы ездили на экскурсию, только еще лучше.

А телевизор какой! Такого я еще не видела, может, даже цвет­ной. А она мне позволит смотреть? В детдоме из-за глаз запрещали.

Гиту бы сюда, она бы все рассмотрела, пощупала, попрыгала бы в кресле, потрогала бы ковер босой ногой. Это только я такая дура, ничего не трогаю и стою как вкопанная.

Ой, что же это?!

— Ты что, другого места не нашла, встала у самой двери! Я тебя не толкнул?

— Нет. Мне мамочка велела здесь подождать.

Смотрит на меня, сегодня он не кажется таким высоким, улыбает­ся, нет, скорее ухмыляется, у братика это от него.

— У нас принято говорить не мамочка, папочка, а мама, папа. И не бойся, никто тебя не съест.

Вышел. Гора с плеч. Открыл другую дверь, а книг там, господи боже ты мой! Все прочитать — свихнуться можно. Там, наверное, ка­бинет. Что-то взял на столе, возвращается, лучше я отойду к стене.

— Ну как дела в школе? Какие отметки?

— Да так, на тройки вытягиваю.

— Ну ты эксперт, не иначе.

Смеется. Что бы это значило? Экспресс — знаю. А эксперт? Мама пришла, позвала завтракать. Что с ней? Она какая-то сама не своя.

— Познакомились?

Я рассказала ей, что он говорил. Ей понравилось, смеется. Она еще красивее, когда смеется.

— У него много работы, он ведь заместитель директора, не надо ему мешать.

Зачем мне ему мешать, хорошо, что он уйдет, без него как-то уютнее.

Моего нового братишку зовут Марек. В детдоме у нас тоже был один Марек, но по фамилии. Я хотела бы с ним подружиться.

Опять дала мне яйца, хоть бы детдомовская еда поскорей кончи­лась, а то она будет кормить меня ею до самой смерти. Дала бы мне лучше пирога, как детям. Может, и даст, если я потороплюсь.

— Не глотай так, подавишься!

Марек скорчил такую рожу, что я поперхнулась от смеха, раз­махиваю руками, кашляю, задыхаюсь, мама стукнула меня по спине. Ничего не сказала, только насупилась.

Крутые яйца я не люблю, а фаршированные еще бы съела, нам на пасху однажды давали на закуску, а в детский праздник повариха сделала нам из яиц лягушат и посадила их на мясной салат. Пржемек начал квакать, и мы все вслед за ним заквакали, если бы не День за­щиты детей, нам бы здорово влетело.

Катя крошит пирог, а у меня слюнки текут, но если я не справ­люсь с яйцами, мне их наверняка и на обед дадут.

У них смешная сахарница из пластмассы, переворачивается, и из трубочки высыпается немножко сахару, интересно знать, он что, всегда высыпается одинаковыми порциями, как это устроено, что са­хар знает, сколько должно высыпаться.

— А ты, оказывается, хохотушка! На, выпей!

Марек смеется. Кофе ужасно невкусный, но мама смотрит строго, и хотя я давлюсь, выпить придется, раз она этого хочет.

Кто-то звонит, это телефон в прихожей, слышно, как она с кем-то разговаривает.

Марек постучал себя по лбу, вылил мою чашку в мойку и быстро пустил воду.

— Такая большая, а глупая.

Катя рассмеялась, у нее зубки как жемчужинки, у нас в детдоме таких маленьких не было, я не знаю, что ей сказать, погладила ее, а она забралась ко мне на колени и таскает меня за волосы, даже боль­но немного.

— Ты что, сдурела, ведь у нее уже полная горсть твоих волос?

С Мареком шутки плохи, он силой раскрывает Катержинке ку­лачок.

— Не трогай ее,— прошу,— она ведь маленькая,— и вытираю слезы.

— А вас там били? — спрашивает Марек.

— Нет.

— А есть давали?

— Давали.

— Только хлеб и воду?

— Нет, все: суп, мясо с гарниром, салат и пирог. Похоже, он не верит.

— И шницель?

— Да, и шницель с картофельным салатом или с картошкой и огурцом.

Он положил подбородок на руки. Катя снова крошит пирог. Те­сто, по-моему, песочное.

— Ты правда чокнутая,— говорит Марек,— чего же ты там не осталась?

Мама была права, ребята стали смеяться, как только я раскрыла рот. Но учительница их сразу одернула. Я и сама понимаю, что тут в Праге говорят иначе, чем в Остраве, но никогда в жизни я так гово­рить не научусь.

Учительница толстая, как поросенок, но, кажется, хорошая, раз ребят одернула, а потом спросила, как у меня со зрением, почему я в очках.

Я ответила, что плохо вижу, только когда горит свет, и весь класс чуть не лопнул со смеху. Таких ребят я в жизни не видала. Ну что тут смешного? Она посадила меня на первую парту, как и в детдоме.

Но девчонка с этой парты ужасно разозлилась, ей, видно, хотелось сидеть с подругой. Отодвинулась на самый край и отворачивается, чтобы не видеть меня. Я и не удивляюсь. Что во мне хорошего?

Мамочка сшила мне платье, она такая проворная, за один день успела, из своего перешила, умеет и на машинке строчить, раз, и го­тово. Так что платье у меня красивое, темно-зеленое с белым ворот­ничком на кнопках, а самое главное, что оно чуточку пахнет, совсем немножко, но я это чувствую, и мне кажется, что она тут, со мной, что обнимает меня. Только оно колется в рукавах и в плечах, но я ей не скажу, ей было бы обидно.

— А у нее блохи! Ну и ребята!

— Вахова, прекрати, пожалуйста,— одергивает ее училка,— имей в виду, каникулы уже кончились.

— Она все время чешется, я с ней сидеть не буду.

Это она обо мне. Ио ведь у меня нет ни блох, ни вшей, нас воспи­тательницы все время проверяли, потому что всегда все сваливают на детдомовских.

Если бы я могла куда-нибудь скрыться, но здесь спрятаться неку­да, и, конечно, все уставились на меня, а мне так хочется почесаться, жутко хочется, эта материя очень колючая.

— Давайте я с ней сяду. Я блох не боюсь.

Снова все прыснули, но тут уж я не выдержала, бросилась вон из класса. Училка поймала меня у двери.

— Как вам не стыдно,— теперь она, кажется, и вправду рассердилась,— как вы встречаете новенькую, что она о вас подумает. Сейчас же замолчите!

Из репродуктора над доской доносятся какие-то звуки, но ничегоне разобрать, в ушах шумит, и очки запотели.

— Никто не запретит мне оставить вас после уроков в первый же день. Блеха, ловлю тебя на слове, теперь ты хоть будешь у меня на глазах.

Она посадила меня на то же место, а мальчишка этот садится со мной и корчит мне рожи, наверное, хочет меня рассмешить, как Пржемек, но я не могу успокоиться, не могу успокоиться и не плакать.

Его фамилия и вправду Блеха, ну и откормленная это блошка, даже смешно.

Ребята окружили меня и суют конфеты, вафли и шоколад, все это тает у меня в руках, я боюсь запачкать платье, ем, чтобы их не обидеть. Все наперебой говорят мне что-то, ты с ней не водись, плюнь на нее, она дура набитая, а ты кошка, раз не видишь при свете, а только в темноте, меня выводят из класса на улицу, я плачу, и смеюсь, и жую конфеты.

—Гедвика!  
Мама. Мама Звездочка. Эта красивая дама — моя мать. Она пришла за мной в школу. Но почему она хмурится?

— Вытри рот!   
Я вся перемазалась. Мама пришла с Мареком и с Катержинкой. Я прибавляю шагу, но все равно возле мамы уже нет места.

— В другой раз ни у кого ничего не бери, ты не объект для бла­готворительности.

Объект, это слово у мамы от него. Оглядываюсь. Мяу, мяу, кис-кис-кис, дразнит меня Блеха, ну и пусть, кошка ведь лучше, чем корова.

— Его фамилия Блеха, правда смешно?

— Что в этом смешного? Его папа доцент.

Что такое доцент? Это больше чем заместитель директора?

Бедная мамочка, сколько у нее со мной забот. У меня нет брюк и вообще ничего подходящего для дачи. А оставить меня одну дома она не может. Я сказала, что могу поехать в старом спортивном костюме, но она его уже выбросила.

Теперь шьет мне брюки.

Я никогда не была на даче, даже не знаю, радоваться мне или нет. Марек сказал, что там такая тоска, как в морге! Откуда он это берет, ведь он только во втором классе!

Наверное, сошьет мне и куртку, мне бы хотелось куртку с капю­шоном, с белой оторочкой. Только пойдет ли мне? Скорее всего нет. Брюки шьет из его штанов, противно будет даже носить. Они не толь­ко будут кусаться, а совсем меня съедят. И цвет какой-то противный.

Мареку и Катержинке шьет из нового, а мне из старых штанов. Если бы они хоть пахли, как, ее платья. И к чему ворчать, что у меня ничего нет, лучше не выбрасывала бы. И чемоданчик был бы. А на их дачу я плевать хотела. Потому что там будет он, целых два дня там будет, с утра до вечера.

Лучше бы он приходил поздно, как можно позже. Или вообще не приходил. Сколько раз я надеялась, что он не придет, но он всегда приходит.

Наконец мы все сложили, каждый что-то несет. И у Катержинки маленький чемоданчик вроде того, что был у меня. Катержинкин она не выбросила, ясное дело.

Он открыл в машине багажник и стал складывать вещи. Красивая машина, Пржемек сказал бы, какой марки, сколько лошадиных сил и какая скорость, но по мне все машины одинаковы, я знаю только шестьсот третью «татру».

— У нас и машина есть?

Я не у него спрашивала, но он захлопнул багажник и говорит:

— Да, у нас, мы пахали...

Не понимаю, при чем тут «пахали»? Я вообще часто не понимаю, что он говорит. Он пристегнул меня ремнем рядом с собой, теперь я никуда не денусь. Мама с детьми села сзади. Я хочу быть снова ма­ленькой, такой маленькой, как Катержинка.

Поехали... Хорошо-то как. На машине я никогда не ездила, толь­ко на автобусе. Смотрю вперед, машины едут перед нами и навстречу. Люди идут, перебегают дорогу, а он злится и ворчит, вижу красные кисти рябины, и красные яблочки, и домики вижу, и совсем розовое деревце, если бы я ехала со своим папой, я попросила бы остановиться и рассмотрела бы деревце как следует, что это может быть, ведь уже сентябрь, наверное, роза, не иначе как роза.

Как хорошо! А какое было бы счастье, если бы здесь был мой на­стоящий папа, в Праге мне еще ни разу не покупали трубочек, пото­му что пирожные, мол, портят фигуру. Но какая у меня фигура? Я хо­тела папе написать в школе, время нашлось бы, но нет денег на марку. Попросила у мамы, сказала, что хочу послать в детдом открытку, но мама ответила, что незачем, это не те связи, чтобы их поддерживать.

Я думала, что дача — это деревянный домишко, но это оказался белый дом с садом, а вдоль дома красные розы, их столько, что дома почти не видно, и все как в сказке.

— Хоть тут не мешай!

Магнит во мне, что ли, какой-то, всех я к себе притягиваю, все на меня натыкаются. Блошка говорит, что я ужасно медлительная, по­ка, мол, ты, Киса, споткнешься, я уже нос расшибу. Он называет ме­ня Киса, а я его Блошка, но вовсе я в него не влюбилась, потому что он ниже меня ростом и потом Пржемек остается Пржемеком. Если бы у меня были хоть какие-нибудь деньги, я могла бы купить цветную открытку с видом Праги и послать ее Пржемеку, он сразу бы понял, от кого, можно и не подписываться.

Здесь и бассейн есть, вода синяя-синяя, а в ней листья, один лист слетел и бултых в воду.

— Ой, лягушка, лягушка!

Он посмотрел на меня и покачал головой. И все мне сразу стало неинтересно.

— Ну, куда ты полезла, господи!

Откуда же мне знать, что здесь нельзя ходить по траве, а надо прыгать с камня на камень, мне же не объяснили.

— Марек, пожалуйста, займись ею, папе нужен покой, ты это от­лично знаешь, а я побуду с Катержинкой.

Марек закатил глаза, это ему некстати, у него здесь, видно, друзья. Да и зачем ему мной заниматься, я ведь не маленькая.

— Пошли!

Иду за ним. Как здесь красиво. С одной стороны луг, с другой — лес. Лес поднимается в гору, а луг внизу. И целое облако пуха от ка­ких-то цветов.

— Тоска зеленая... Ни к чему не притронься, никуда не ступи, этот буйвол с каждым листочком носится.

— Буйвол? Какой буйвол?

Я наклоняюсь к нему. Он такой маленький и такой ладненький, как я рада, что у меня такой братишка.

— Не доходит? Да папа же.

— Папа? О родителях, Маречек, так говорить нельзя, родителей нужно уважать.

Он смотрит на меня разинув рот, долго пялит свои глазищи и вдруг падает, катается по земле и хохочет, ох, как хохочет. И скатыва­ется по склону вниз, сначала я испугалась, но он все катится и сме­ется, я бегу за ним, ноги сами меня несут, передо мной синева, синее небо, я лечу, как во сне, мне хорошо, но вот-вот я грохнусь.

Нет, не упала, Марек садится на берегу ручья, он так хохотал, что описался, я делаю вид, что не заметила, авось высохнет, лишь бы этот ответственный работник снова не съездил ему по физиономии.

Сажусь рядом с ним, вода течет и булькает. Гита как-то написала в сочинении, что ручеек бормочет, схватила пару, но была права, во­да говорит, разговаривает с камешками и травой.

— Все только для него,— говорит Марек,— остальные ноль без палочки, лишь бы не шумели, не сорили, не трогали, если бы он мог, то запретил бы и дышать.

Наверное, надо бы его остановить, слишком он мал, чтобы гово­рить такое, всего-навсего во втором классе, а рассуждает, как взрос­лый. И вздыхает, как взрослый.

— Смотри, рыбка.

Я не вижу. Она, видно, очень маленькая, и вода рябит.

— Ты бы хотела быть рыбкой?

— Еще съели бы меня.

Он не засмеялся. А мне хотелось, чтобы он снова засмеялся.

— Уплыть бы от него или улететь. Если бы не мама.

Тут уж я ничего не понимаю. Живет в настоящем доме и такой разнесчастный, все у него есть, а так вздыхает, и велосипед весь хро­мированный, и ролики, и четыре больших конструктора.

— Ты видела «Красавицу и чудовище»? По телеку показывали, папа уехал, вот я и смотрел. Этот зверь был заколдованный, а краса­вица так его любила, что он превратился в человека. Мама, навер­ное, тоже думает, что он превратится.

— Кто превратится?

— Ну что с тобой говорить!

Он наклонился к воде. Брызгает на меня, залил очки, но я его ви­жу, снял туфли и влез на камень.

— Осторожно, Маречек, не упади.

Что он имел в виду? Красавица, конечно, это моя мама Звездочка, а зверь? Ведь он человек, противный-препротивный, но все-таки че­ловек.

Марек уже в воде. Он это нарочно сделал, чтобы ничего не было видно. Но я бы вйе равно не рассказала.

— Посиди на солнышке, высохнет.

Упрямец, нарочно идет по лесу. Здесь тихо и пахнет грибами, сильно-сильно пахнет грибами.

Вот. Господи, какой красивый. Такой красный, в горошинку, мне бы такой зонтик. Рядом поменьше — кругленький, еще не раскрытый, И еще рядом — совсем белые.

— Не топчи!

Как даст мне ногой по руке, больно, даже кожа содралась на ко­стяшках, сама виновата, не надо было туда руку совать, но мухомор жалко, он такой красивый.

Трясу рукой, лижу ссадины, но боль не проходит, а Марек исчез, еще бросит меня здесь и я заблужусь. Марек, Маречек, Марек!

Принес полную горсть ежевики, крупной, как вишни, и сладкой-пресладкой.

— Ты бы еще башку туда сунула, я бы двинул — как мяч отлете­ла бы.

Мы смеемся. Как хорошо, когда есть братишка, к тому же такой смышленый. Он прыгает передо мной и поет: «Зеленая трава, футбол, вот это да!» Я пою вместе с ним, петь я, между прочим, умею, в дет­доме всегда пела соло, потому что могу взять самую высокую ноту.

И вдруг в сад вышел он. Я вмиг замолчала. Он так на нас посмо­трел, что я онемела. Марек идет спокойно и поет, а я не могу, во мне все сжалось, даже шевельнуться не в силах, он смотрит, как удав на мышь или на кролика.

Хуже всего во время еды, как посмотрит, у меня живот сразу схватывает, кусок застревает в горле, ложка из рук валится, суп те­чет по подбородку, отрезать ничего не могу — все потому, что он смотрит.

— Вас в детдоме есть не учили? Или ты пропустила тот урок? Что ему ответить? Я вообще не знаю, что ему отвечать. Разве в школе учат есть? Маленьких, наверное, учат, но я этого уже не' пом­ню. Катержинка ест красиво, но иногда ей не хочется и она говорит: мама, кормить.

Был а бы я маленькая.

Пусть бы он меня побил. Но он только смотрит или говорит что-то ни к селу ни к городу, а мама всегда краснеет, вся становится крас­ная, краснеет из-за меня, и я готова провалиться сквозь землю.

Снова я с носом, и доесть не успела, как она уже все собрала и унесла. В детдоме нам все давали сразу, повариха мне приносила еще одно сладкое, а иногда тайком отводила на кухню и давала выскрести кастрюлю из-под крема или мусса или накладывала полную тарелку маленьких пирожков и всегда смеялась, что она, мол, только пар ню­хает, а толстеет, а я, что ни дай, не поправляюсь.

Хуже всего, что я ни маленькая, ни взрослая. Катержинке и Ма­реку дали бананы, а он и мама пьют кофе из маленьких чашечек. В ц детдоме нам только один раз на рождество дали банан, он был укра­шен звездочками из шоколадного крема, вкуснота невозможная, я облизывалась до самого Нового года. Кофе вкусно пахнет, и дым от сигарет мне нравится, мой папа тоже курил и пил кофе, а для меня всегда брал четыре трубочки. Тетя, которая меня привезла, говорила, чтобы я маме ни о чем не рассказывала, но как мне попросить денег на марку? И как узнать адрес той больницы? Наверное, это зна­ет пан президент, но ему я боюсь писать; если каждый будет ему пи­сать, он даже прочитать все письма не сумеет.

Наверное, лучше бы я была взрослая. Писала бы спокойно, кому хотела, меня бы пустили к папе в больницу, и маме я могла бы что-нибудь купить, только что, ведь у нее все есть. Я купила бы ей в кон­дитерской большой торт, и она пила бы с ним кофе, а может, и заку­рила бы.

— А посуда? Грязную вы что, выбрасывали?

— Нет, что вы.

Кто же это посуду выбрасывает? Не понимаю, как мама могла за него выйти. Да еще оставляет меня с ним одну.

Уж лучше лечь спать после обеда, чем видеть его змеиные глазки. Королевский удав. Буду называть его удавом. Марек называл его зве­рем. Красавица и зверь. Но удав лучше, Звездочка и удав.

Знал бы он, о чем я сейчас думаю. Так бы меня стукнул, что от ме­ня бы только мокрое место осталось. У Пржемека была такая при­сказка: стукну раз — прямо в глаз, стукну второй — голова долой.

Я прыснула, не выдержала, а он говорит маме (она уже детей уложила и мыла посуду), какая индифферентность. Просто невообра­зимо, какая индифферентность. А она покраснела.

И вдруг ни с того ни с сего крикнула:

— А что же мне делать, скажи бога ради! Скажи! И слезы полились по ее щекам.

— Терпеть не могу истерик.

И ушел в сад, одно слово — удав!

Мама Звездочка всхлипывает, вся дрожит от плача, я никогда не думала, что взрослым может быть так же горько, как и нам.

— Мамочка, мы с Мареком тебя в обиду не дадим, не бойся. Она оттолкнула меня и еще сильнее заплакала, лицо опустила на руки и все повторяет: «Кому я что сделала, кому я что сделала?».

Я легонько поглаживаю ее красивые волосы, сердце у меня раз­рывается, оттого что она плачет, но я счастлива, что осталась с ней одна.

У меня есть бабушка. Но не настоящая, потому что настоящие ба­бушки старые и ходят в платочках. Моя бабушка почти молодая, но­сит белокурый парик, красит веки и губы. Платье у нее как у дамы, из-под него выглядывает кружевная комбинация, а в общем — тьфу!

Наверное, я ее любить не буду.

Она осматривает меня издали и вблизи, даже очки надела.

— Гм, гм, ну, допустим. Что допустим?

И следит за мной, куда бы я ни ступила.

— В кого она, как ты думаешь?

Это она говорит маме, а имеет в виду меня. Но почему я должна быть в кого-то?

— Теперь уж делать нечего — не проверишь. Я голову бы тогда да­ла на отсечение, что не протянет.

Она думает, что я полная дура, но я, между прочим, прекрасно все понимаю, хотя обо мне говорят, будто о какой-то вещи.

А у меня, кстати, есть свой папа, он приедет ко мне и поведет ме­ня в кондитерскую, будет пить кофе, а я уплетать трубочки, и я все ему расскажу, вот бабке досадно станет.

И мама не хочет ее слушать, это даже очень заметно.

— Оставь, пожалуйста, помолчи.

— Удивляюсь тебе, дочка, я бы этого так не оставила. Дело твое, но тебе это может дорого обойтись! Мало ли что еще он выкинет, этот тип!

Мама велела мне выйти, но все равно я слышу каждое слово. Бед­няжка, у нее из-за меня одни неприятности. Какая же она несчастная с такой злой матерью, а у меня мамочка добрая, красивая и добрая.

Порадую ее. Пойду выброшу мусор. Только удастся ли поднять крышку бака. Если бы Блошка был во дворе, я попросила бы его при­держать крышку. Он низенький, но сильный.

— Блоха, Блошка!

Сразу примчался. Ну и гремят же эти баки!

— Подожди!

— Что это? Ты мне чуть пальцы не прищемил.

— А чего ты их туда сунула?

— Подними! Подними-ка повыше.

Папино письмо. Точно. Но от конверта остался лишь обрывок, там написано «Гед...», это мне письмо, а они его выбросили, не отдали мне, порвали письмо от моего папы и бросили, они только и знают, что все выбрасывать.

— Мне надо найти все письмо. Обязательно!

В баке только маленькие клочки бумаги. На одном написано «был», а другой чистый.

— Что с тобой, Киса? Не плачь.

— Это от папы. Они мне не отдали и выбросили.

Он открыл крышку и стал искать вместе со мной, слезы заливают мне стекла очков, я почти ничего не вижу, мне не хочется плакать, но слезы текут сами. Не волнуйся, утешает меня Блошка, мы все .найдем.

Он лезет в бак, он просто играет, глупый мальчишка, а мне нужно знать, что пишет мне мой папа, что он мне пишет.

И вдруг меня зовет мама. Зачем я ей понадобилась?

— Только не болтай, Блошка, никому не рассказывай, прошу тебя.

— Я все найду, не бойся.

Из бака торчат только его ноги, знала бы мама, что я играю с Бло­хой, она была бы довольна, ведь его папа доцент. Но я ей все равно ничего не расскажу.

— Ты соображаешь, что делаешь? С мальчишкой роешься в му­соре, надо же!

— Чего от нее можно ждать?

Бабушка на меня кидается, вот буду называть ее бабища, бабища размалеванная, намазанная, противная, подстроить бы ей что-нибудь, но мне ничего в голову не приходит, Пржемек бы сразу смекнул, мож­но было бы подсунуть ей в туфлю кнопку или привязать к поясу мышь, вот бы крику было, или положить живую мышь в карман, или хоть червяка, вот бы визжала!

— Ты чего смеешься, Гедвика? Видно, у нее не все дома.

— Тебя это удивляет? У, бабища!

Катержинке принесла носовые платочки, один лучше другого, с разными зверушками, Мареку книжку, может, он мне даст почитать, он еще во втором классе, а у него уже своя полка с книгами. А мне отвели один ящик в кухне и столик, который надо все время склады­вать, чтобы места не занимал.

Про меня бабища, конечно, не подумала, ну и пусть, все равно я бы выбросила, если б она мне что-нибудь принесла.

А вообще она ничего, бывают хуже, на, говорит, это тебе, поло­жи в копилку, а откуда у меня копилка?

Надо бы ей эту монетку вернуть, но что делать, ведь мне так нуж­ны марки. Когда я вырасту и буду сама зарабатывать, я ей вышлю, а теперь никак не могу.

Теперь вся надежда на Блошку, но, может, ему надоело копать­ся в мусоре или мама позвала домой. Его маму я знаю, она работает в поликлинике, куда моя мама ходит с Катержинкой; такая же тол­стенькая, как Блошка, на щеках у нее ямочки и носит жакет из оленьей замши. Блошка сказал, что замша не из оленя делается, а из газели.

Вот молодец, Блошка, будто услышал, что я зойу его на помощь. После ужина звонок, входит он и спрашивает, не унесла ли я случайно его тетрадь по математике, он, мол, ее обыскался. И при этом под­мигивает. Как хорошо, что постель еще не постелена и я еще не в пижаме, которая висит на мне как на вешалке. Пока мы ищем вме­сте тетрадь, он подсовывает мне письмо, уже склеенное, и шепчет: тут куска не хватает, но все равно понятно.

Тетрадь мы, само собой, не нашли, и он как ни в чем не бывало говорит моей маме, у меня, мол, склероз, ведь я отдал ее Махачеку. И снова мне подмигивает, надо будет его завтра спросить, что такое к склероз, может, что неприличное. Но думаю нет, потому что и мама смеется.

Она даже провожает его до дверей и просто сияет от удовольствия.

— Это очень хороший мальчик, Гедвика, я очень рада, что вы сидите вместе, отец у него доцент, а мать — врач.

Это мы уже слышали, только не знаю, какое это имеет отношение к Блошке и ко мне. Конечно, даже самый никудышный доктор, который берет мазок из горла, не может быть противнее, чем наш ответственный. Даже зубной.

Сижу в уборной, хотела подождать, пока все уснут, но уже терпения Не было, только бы Блошка не разболтал, какой же тут плохой свет, чернила в письме местами размазаны, в глазах туман.

«Гедвика, девочка моя.

(Господи, папа, как давно я тебя не видела...)

Я узнал, что тебя отправили к маме. Замечательно, мама — это мама. Твоя мама хорошая женщина. Я завидую, что ты можешь быть с ней.

(А ты не можешь? Почему ты не можешь, папа? Почему мы не яможем быть вместе даже с Мареком и Катержинкой, а этот надутый Удав — ну его, все равно в кресла садиться нельзя и по ковру ходить  
тоже нельзя, мы обойдемся и простыми вещами.)

Дела мои, девочка, плохи, я... и хотят сделать из меня сумасшед­шего, но им это...

(Держись, папа, из меня тоже хотят, для них все сумасшедшие.)

Я хотел тебе что-нибудь послать, но ничего у меня нет, жди к рождеству. Я один-одинешенек, и мне очень тоскливо... ли ты обо мне иногда? Напиши мне хотя бы!»

Снова мне стучат, ни минуты покоя.

— Сейчас.

Опять у меня покраснеют глаза.

— А воду у вас в Моравии не спускали, что ли?

Дурак какой-то! При чем тут Моравия? Только вода у меня сейчас в голове.

Деньги на марки есть. Но где написать? Лучше всего в школе. Только бы нё пронюхали про письмо, вот было бы крику. Во все они нос суют.

Спрячу его в наволочку. Может, не будет шелестеть? Сложу в несколько раз.

Снова кто-то идет.

— Гедвика, ты спишь?

— Нет еще.

— Дай мне те Пять крон, что бабушка подарила, я куплю тебе носки. А то потратишь на ерунду.

— Хорошо.

Я всегда соглашаюсь, говорю «да, пожалуйста, хорошо», никак нё отважусь сказать «нет». Я знаю, надо защищаться, но у меня не по­лучается.

Я купила бы марки, и почтовую бумагу, и открытки для ребят. Это вовсе не ерунда, я им еще ни разу не написала.

Я снова плачу, и снова мне холодно. Я тоже одна-одинешенька, папа. И мне тоже тоскливо. Ты хоть писать можешь кому хочешь, а я и этого не могу, мне вообще ничего нельзя.

Ну и силен Блошка — все устроил как надо. Он, дескать, должен со мной заниматься, я ведь из сельской школы, такое, мол, дано ему поручение. Дома у них не так красиво, как у нас, но мне там нравится гораздо больше. Все здесь можно, можно даже прыгать на диване.

Его мама похожа скорее на девчонку, чем на врача, совершенно спокойно говорит при нас разные ругательные слова и пепел с сига­реты стряхивает куда попало, в цветочный горшок или на тарелку, а иногда и в пепельницу. И еще при этом смеется.

Блошка ее незаметно выпроводил.

А теперь садись, говорит, Киса, и пиши что хочешь.

Я сижу и не знаю, что писать, и все время думаю, что все равно ведь нет денег на марку. Как же я пошлю?

— Киса, ты уже целый час сидишь и только глаза таращишь.

— У меня было пять крон на марки, а она забрала.

Я сказала «она», не хотелось говорить «мама», потому что моя мама Звездочка — хорошая и желает мне добра.

— Мама не хочет, чтоб я писала папе, и ребятам из детдома не велит писать.

— А ты? Сама-то ты что? Хочешь или не хочешь?

— Я бы хотела, если бы...

— Если бы да кабы, да во рту росли грибы, ты прямо напраши­ваешься, чтобы тебе на голову сели. Подумаешь, марка! Какие дела! Есть о чем говорить. А от тебя скоро мокрое место останется, если будешь все время реветь. На, жуй и пиши!

Он открыл коробку с конфетами и говорит, что, мол, видеть их больше не может. Вот это конфеты, одни обернуты, а другие в се­ребряных корзиночках, я бы спрятала, было б куда, они с ликером, Саше понравились бы. Она больше всего любит с ликером. Эти вот с миндалем, а вот эту коричневую надо попробовать, немножко горь­коватая и сверху посыпано какао, а эта пахнет кофе. Надо бы остановиться, но остановиться я никак не могу, а внутри этой орешки.

«Милый папочка!

Я живу хорошо и желаю тебе того же. Мама добрая, Марек ум­ный, а Катержинка красивая. Марек тоже красивый. Он меня не оби­жает, у него большая ответственность, и он любит иностранные сло­ва. В школе у меня дела не очень, но мне помогает мой одноклассник Блеха. Как я хочу, чтобы ты приехал ко мне! Прийти к нам мама, наверное, не разрешит, но Блеха все устроит. Он все может. Ответ шли на его адрес, он напечатан на конверте, только вместо его мамы надо писать Зденеку Блехе. Домой мне не пиши, они все равно вы­бросят, как и твою карточку. Если у тебя есть другая, то пришли, пожалуйста, пришли и приезжай».

Я чуть не подписалась «Киса» вместо «ГедЕика». Немного изма­зала письмо шоколадом, но это неважно.

— Готово? Ну, наконец-то. Вот, возьми заодно и открытки. Этим, как их, воспитательницам, тоже ведь надо послать?

И правда, как же это я не додумалась! Заведующая всегда ко мне хорошо относилась, и воспитательницы тоже, и поварихе надо послать, она была самая добрая.

— Пожелай им заранее веселого рождества.

Он смеется. Какое рождество, до рождества еще далеко.

Не хочется, чтобы Блошка смотрел, когда буду писать открытку Пржемеку. Но ему хоть бы хны, делает вид, что его не интересует, кому я пишу. А что бы он сказал, узнай, что я пишу мальчику, знать бы, разозлится он или нет.

Я Блошку не всегда понимаю, он для меня слишком шустрый. То воображает и валяет дурака, а то вдруг делается совсем серьез­ным и все понимает. Откуда он узнал, что мне все время хочется сладкого?

— Блошка, а не попадет тебе из-за меня?

— Не бойся, Дашенька у меня приручена.

Дашенькой он называет свою маму, Дашенька, щеночек ты мой. А она смеется и ерошит ему волосы или валит его на диван, и они поднимают возню — Блошка называет ее щенячьей.

— Не понимаю, чего ты все время такая запуганная, ну что осо­бенного — папе написать, если ты его любишь, а они пусть сами в своих делах разбираются.

Легко сказать.

— Слушай, а в психиатрическом отделении только сумасшедших лечат?

— Ты что, у кого теперь нервы в порядке?

— А он выздоровеет?

— Отчего же нет? Хочешь еще конфету? Возьми себе все.

— По-твоему, он пишет как сумасшедший?

— Нет, нормально, пишет вполне нормально.

— А тебе не влетит, если ты получишь письмо?

— Как-нибудь выкручусь, почту я чаще всего сам вынимаю.

Он смеется. Они вообще очень смешливые. Мы вместе идем опу­скать письма и открытки в ящик. Несет их Блошка, меня могут наши увидеть.

По улице я с ним ходить не очень люблю — он намного ниже.

— Вырасту, Киса, не волнуйся. Он что, мысли мои читает, что ли?

— Девчонки развиваются быстрее, но я тебя еще перегоню. Он снова хохочет, а я краснею. Хорошо, что я в пальто.

— Когда же я тебе деньги отдам?

— Когда будут.

С утра льет и льет. На улице пасмурно, дома горит свет, я почти ничего не вижу. Надо делать уроки, но как, если перед глазами все расплывается.

Помочь бы маме стряпать, но она не любит, когда я помогаю, го­ворит, что мешаю. Катержинка ей не мешает, ей можно мять кусок теста и класть его рядом с пирогом в духовку.

Пирог яблочный, с изюмом, мама уже такой пекла, очень вкусно, но дают кусочек — на один зуб.

Жду не дождусь обеда, есть очень хочется. Дождь идет и идет. Поиграть бы с Мареком, да ему мешать нельзя, он разучивает что-то на пианино. Он-то обрадовался бы, помешай я ему, а то стучит по клавишам, будто вода капает. Я могу подобрать любую песенку, но мне не разрешают, чтобы пианино не расстроить.

Не дождусь я, как видно, обеда.

Удав ходит злющий, лучше не попадаться ему под руку. Разве я виновата, что у него прострел? Мой папа тоже болен, а ему мама чай не заваривает и не пляшет вокруг, ему я даже и написать не могу.

Не знаю, что теперь будет с письмом, ведь с Блехой я не разго­вариваю. Разозлилась на него. Конечно, я сама виновата, не надо было доверять ему тайну.

Но мне же хочется поговорить о папе, с мамой нельзя, Марек еще маленький, Катержинка и вовсе. Вот я и рассказала Блохе, что папа не мог приходить домой, потому что должен был охранять пана пре­зидента и подавать ему черный кофе с трубочками, так как никто дру­гой не мог ему угодить.

Блеха уставился на меня, глазел, глазел и даже не засмеялся, а только сказал: ты, Киса, дурака не валяй и об этом никому не рас­сказывай, а то засмеют.

Я спросила, почему не рассказывать, и он ответил, что это навер­няка неправда и что это мой папа выдумал.

Мой папа, между прочим, не врет, зачем ему врать? Он ведь взрос­лый и не станет выдумывать, как Гита.

Я повернулась и пошла, а Блеха — за мной, мол, это все нервы, Киса, нервы, он тут не виноват.

Он тоже хочет из него ненормального сделать, все они говорят, что мой папочка — чокнутый, он мне и сам об этом в письме написал, а Блеха прочитал, когда кусочки склеивал, вот теперь и строит из се­бя умника.

Я в его дружбе не нуждаюсь, у меня есть и мама, и братик, и се­стричка, и на кой мне эта дурацкая блоха.

Наконец дали суп, вкусный, с печеночными кнедликами, но когда я ем суп, у меня всегда запотевают очки, приходится их протирать все время, а тут куда-то платок подевался, салфеткой нельзя, она грязная, а Удав пялится на меня.

Шлеп — и очки в супе, мама покраснела, конечно, а Марек смеет­ся, он одергивает его, слава богу, я их вытащила и дую на пальцы.

А маленькая Катержинка ни с того ни с сего как скажет: «Наш папа старый дурак!»

Слышно, как мама глотнула, как с моих очков капнуло, а у Маре­ка звякнула ложка.

Он встал, шумно отодвинул стул, он все растет и растет, стано­вится огромный, наклоняется надо мной, мне страшно, я ведь ничего не сказала, это маленькая Катержинка, она услышала от Марека, Марек болтает невесть что, я ему уже говорила, что нельзя так, но теперь молчу, молчу, молчу, а страшная гора падает на меня и при­давливает, я и хотела бы вымолвить что-нибудь, а голоса нет, кажется, он меня ударит, закрываю лицо и голову, только бы очки не разби­лись.

Он поворачивается и выходит, я не вижу этого, но пол дрожит под его ногами, хлопает дверь, и мама срывается за ним и кричит: дорогой мой, дорогой.

Кричит ему «дорогой», такому мерзкому старикашке, Марек заткнул Кате рот, лупит ее, бедняжечку, а она продолжает твердить то же самое.

Влетит мне, я знаю, ведь я не умею защищаться, а на детей из детдома всегда все сваливают, хочу вымыть очки, а мама уже здесь, вот она, хватает меня за руку, тянет, куда она меня тянет, к нему, что ли, мамочка, нет, нет, мамулечка!

Я упала, лежу у его ног, а она кричит: проси, проси немедленно прощения!

Какая она несчастная, я это слышу по голосу, какая несчастная, она в отчаянии и не знает, что делать, все это я слышу, она боится его и вся сжалась от горя.

— Простите, извините, простите,— это лепечу я, это в самом де­ле я, этот плаксивый голосок мой, он поднимает меня своими клешня­ми, куда же, господи, он меня поднимает?

— Проси маму, чтобы строго тебя наказала.

Просить бы не надо, но я прошу наказать меня, в горле будто кнедлик застрял, а я ведь суп и не начала есть.

— Громче!

Что-то захрустело, я вздрогнула, он раздавил мои очки, когда они упали на пол.

—Идиотка!   
 Во всем я виновата, он разбил мои очки — и я же идиотка. Мама велела мне стоять на коленях, я стою в кухне в углу, а они обедают, g я их не вижу, только слышу, как звенят приборы, как мама режет пи- щ рог, а мне даже маленького кусочка не достанется.

Я стою и смотрю на кафель перед собой, упираюсь в него лбом, но он холодный, холодный как лед, и коленям тоже холодно, мурашки ползают по мне вверх и вниз, интересно, где они встретятся?

Хоть бы есть не хотелось, но голод засел во мне и растет, выгрызает во мне целую пещеру, от меня останется только одна кожица, как от гусеницы, которую выедают личинки наездника.

Мне плохо, а Катержинка смеется, Марека не слышно.

— Куда это ты с пирогом?! Сиди, пока не съел!   
Я знаю, Марек хотел сунуть пирог мне, они тоже это понимают, я это чувствую, и это согревает меня немного, мне уже не так холодно, на меня будто повеяло теплом. Когда мы в лагере разжигали костер, спине было холодно, а лицу жарко, да еще дым щипал глаза.

Катержинка смеется, а он говорит: смотри, Катержинка, изюминка упала, ну-ка, ам, открой ротик, ам-ам.

А я стою на коленях.

Марек проходит мимо, я слышу его шаги, теперь он ростом с меня, потому что я на коленях, наклоняется ко мне, к самому уху.

— Все равно он дурак, все равно.

Марек все-таки сунул мне кусочек пирога, совсем маленький, какой только уместился в его ладошке, на языке у меня растаял сахар, очень вкусно, но я ничего не могу проглотить, в горло не лезет.

Красный цвет я вижу хорошо, он у меня на руке, кап, кап, кап, это из носа капает кровь, пускай, мне ничуть не больно, и так я по­степенно умру.

А мама будет жалеть, что не дала мне пирога, и Марек будет пла­кать, и у Катержинки, когда она увидит, потекут слезы, а Блошка придет и скажет: Киса, не валяй дурака, вставай. Но я буду мертвая и ничего не услышу, и приедет ко мне папа, и ему будет грустно, и он не будет знать, что делать с трубочками.

Никто к ним не притронется, потому что у всех будет сжиматься горло, и они не смогут ничего проглотить, и у всех потекут слезы, у всех, кроме меня, а я больше не буду плакать, я буду сладко спать.

Ну и номер я выкинула, вдруг заболела. У меня температура, в меня отправили в карантин, чтобы не заразила детей. Карантин у ба­бушки. Не люблю я ее, но больше не называю бабищей, не такая она уж плохая, бывают хуже.

— Теперь ты ее мне на шею вешаешь,— сказала она, когда мама привезла меня к ней на машине,— ты меня никогда не слушаешь. Как вспомню, что тогда стоило только окно открыть, так, кажется, сама себя выпорола бы.

Что она этим хотела сказать, не знаю, но, видно, я ей не очень-то кстати.

— Ты тут не капризничай, Гедвика,— сказала на прощанье моя мама,— я не знаю, за что раньше хвататься. А ты, мама, записывай все расходы, я потом с тобой рассчитаюсь.

Меня уложили в постель, потому что мне было плохо, мама подожила руку на одеяло и тут же убрала ее и улетела, как мотылек, сначала исчезла ее красивая рука, а потом и вся она, и я осталась у бабушки.

Вот если бы она тогда не удерживала Удава, он бы ушел и мы были бы все вместе, я могла бы написать папе, чтобы он приехал. Но она: «дорогой, дорогой», этот Удав ей дороже; чем мы, что только она в нем находит.

— Мучение с тобой,— вздыхает бабушка. Но не очень-то она му­чается, вечно где-то в бегах, а я остаюсь одна.

Очков еще нет, сначала надо сходить к глазнику, но это хорошо, хоть учиться не надо. Все равно неохота.

Мне кажется, будто я легонькая и плыву по воде, а не лежу, это так приятно, напротив меня окно, я люблю это окно. В нем виден свет, и он такой прекрасный.

Этот свет я могу превратить в темноту, стоит посмотреть на сте­ну. Это очень занятно — когда темнота превращается в свет, а свет в темноту.

Когда остаюсь одна, я включаю радио, слушаю разные передачи, песенки и музыку тоже, пою или просто думаю. Пржемек сказал бы, что я выдумываю велосипед, но я ничего не хочу выдумывать, мне очень странно, что говорят, поют и играют такие же люди, как я, что они научились так красиво говорить, и петь, и играть, а я ничего не умею.

Время от времени заглядывает бабушка и спрашивает: ну, как, не лучше тебе? А я не знаю, что ей ответить. Что ей хочется больше услышать.

Она дает мне бульон с яйцом и кашу с медом, и то и другое про­тивное, но говорят, я от этого выздоровею. Еще она приготовила мне бисквиты с заварным кремом, я такого в жизни не ела, это была очень вкусная и забавная еда, мы весь вечер смеялись.

Потом я проговорилась, что про себя называю маму Звездочкой, потому что у нее глаза как звезды, и бабушка отошла к окну, стала смотреть на улицу и сморкаться, мне показалось, что она плачет.

— Пойми, Гедвика, твой отец испортил ей жизнь.

— Но ведь он ее любит.

— Может, и любит по-своему, но он испортил ей жизнь в самом начале, и ты должна это понять и забыть о нем, как и она.

Ну, конечно, я должна все понимать. Я бы даже хотела о нем забыть, чтобы доставить маме радость, но что, если у меня ничего не выходит. Я снова и снова вижу, как он стоит на улице, переминается с ноги на ногу, прячет шею в воротник, а потом вдруг поднимает го­лову, смеется и подходит ко мне.

Как он мог испортить ей жизнь? Можно испортить рисунок, или зуб может испортиться, но как может испортиться жизнь?

— А как он испортил ей жизнь?

— Этого ты не поймешь, мала еще.

Для одного я мала, а для другого не мала, все зависит от того, устраивает ли их это. А я только делаю вид, я, между прочим, знаю, к чему бабушка клонит. Мы с девчонками это вычислили по метри­кам, почти никто не родился так, как полагается.

Подумаешь, он сделал маме ребенка немножечко раньше, ну и что? Ведь этот ребенок я. Разве плохо, что я есть на свете? Мне на свете нравится, если бы только я не болела и не было бы Удава. Нет, я не хочу, чтобы он умер, пусть живет на здоровье, но пусть идет жить в другое место, в свою семью. Марек мне рассказал, что у Удава есть еще одна жена и дочка, которая учится на врача, так почему же он не живет со своей дочкой-врачом?

Взрослые все так запутывают, что у меня от этого в голове пол­ный кавардак, разве тут разберешься?

— Вы думаете, моя мама меня любит?

— А ты как думаешь?

— Я? Не знаю.

— Понимаешь, Гедвика, вы должны сперва привыкнуть друг к другу, правда? Марек и Катержинка еще маленькие, о них надо боль­ше заботиться, а ты в ней уже так не нуждаешься.

Не нуждаюсь, это правда. Вообще в ней не нуждаюсь. Ведь я за­болела, потому что она поставила меня из-за Удава на колени. А те­перь совсем забросила.

Когда я болела в детдоме, ко мне приходила сама заведующая, а ведь у нее тоже нет времени и тоже есть свои дети.

— Поспи-ка лучше, Гедвика.

Все спать да спать, днем и ночью. Очки бы хоть были, чтобы те­левизор смотреть.

От имени всего класса, что от имени всего класса? Да это Блеха, конечно, это его голос. Он пришел, а ведь мы поссорились.

Но он пришел не один, с ним кто-то еще, как плохо без очков, надо же было этому Удаву раздавить мои очки?

— Привет! Привет, Покорна. Покорна, вдруг я стала Покорна.

А, узнала, это та зануда, что за ним увивается, малявка Йоузова. Ясное дело, они подружились, пока я не хожу в школу. Ну и ладно!

— Мы пришли тебя проведать от имени всего класса.

— Мы принесли тебе цветы и конфеты.

— Спасибо.

Надо бы еще что-нибудь сказать, но мне ничего не приходит в го­лову. Мне никогда не дарили цветов. Йоузова протягивает букет, а Блошка сует коробку с конфетами. Жаль, что не наоборот.

Ах, вот что! Будто от всего класса?! Но ведь эти конфеты полу­чает его мама от больных, такие же точно купила ей моя мама, когда шла с Катержинкой на осмотр. Скорее всего это та же коробка, пере­ходящая.

— Ты чего смеешься, Киса?

Я уже снова Киса, дело в шляпе.

— Ты без очков чудная какая-то, правда, Блеха?

— Почему? Обыкновенная.

Как он ее! Молодец, Блошка, совсем на меня не сердится.

— Эй, Йоузова, попроси у пани Еазу. Соображает, что к чему.

Йоузова фыркает, но идет. Хоть бы бабушка ее там задержала.

— Тебе письмо, Киса.

Он быстро сунул его под подушку.

— Ты читал?

— Нет.

— А откуда узнал, что это мне?

— А кто мне может писать из Опавы?

— Тебе не влетело?

— Не бойся. И давай выздоравливай. Температура еще есть?

— Нет.

— А чего ты ревешь?

— Я не реву, это слезы сами катятся. Смеется, как я рада, что он смеется!..

Йоузова входит с цветами, могла бы и не спешить.

— Это астры,— сообщает Блошка,— говорят, последние, но не­дельку еще постоят.

Он все сам затеял, и как здорово все подстроил, а класс тут ни при чем. С Йоузовой они друг другу подходят, она тоже маленькая, ресницы у нее черные и громадные черные глаза, как у совы. Мне такие глазищи, я бы на все чихала.

— Сказать тебе, что мы проходили?

— Мне сперва надо к оптику, я разбила очки.

— Вот это здорово,— хохочет Блошка,— разобьешь очки — и не надо учиться, прекрасный способ, я бы разбивал их все время.

— Но ведь мы учимся для себя.

Ну, конечно, Йоузова не может не выставляться.

— Корова ты, вот кто.

Это он сказал Йоузовой в смысле дура, точно так же, как Пржемек говорил мне. Тот однажды принес апельсин, очистил его, разде­лил на две части и сказал: «Я — осел, а ты — корова, ешь скорей и будь здорова». Пржемек всегда говорил в рифму.

Йоузова надулась, она шуток не понимает.

— Давай выздоравливай, Киса. А что мы прошли, догонишь, ни­куда не убежит.

Я все время слышу его смех. Они уже давно ушли, а я все еще его слышу.

— Симпатичный мальчик,— хвалит его бабушка,— и девочка хо­рошая, в наше время это редкость.

Мы с ней вместе едим конфеты, и мне совсем хорошо, под по­душкой папино письмо, может, мне удастся его прочитать. И с Блош­кой я помирилась.

Сегодня счастливый день. Гостевой. Пришло письмо от папы, и Блошка меня навестил. Только бы бабушка поскорей ушла.

— Мне надо пойти по делу, Гедвика. Ты потерпишь одна часок?

— Конечно.

Ох, как долго она одевается. Еще медленнее, чем я. Наконец хлопнула дверь. Скорее, скорее за письмо, без очков придется по­потеть.

«Гедвика, Гедвичка, милая!»

(Я будто слышу тебя, папа.)

Я понимаю, чтотвоя мать не разрешает, чтобы ты мне писала, это бесчувственная женщина.

(Что он пишет? Ведь он всегда ее хвалил, может, я читаю непра­вильно, нет, правильно, он, видно, и в самом деле того.)

Она всегда была холодная как лед, и сюда я попал из-за нее, это она и ее мать меня погубили.

(Они чокнутые, эти взрослые, все, как один, чокнугые. Такое письмо можно было и не писать.)

Но ты, Гедвичка, не огорчайся, меня скоро произведут в генера­лы, только вот выздоровею. Я возьму тебя к себе, и нам будет хорошо.

(Папа, боже мой, папочка. Если бы только буквы перед глазами не расплывались. Хоть бы Блошка был здесь, но что бы он мне посо­ветовал, ведь я в прошлый раз с ним из-за этого поругалась.)

Здесь хотят сделать из меня ненормального, потому что я человек важный и знаю много секретов, но это им не удастся. Скоро я за то­бой приеду на «татре-603», потерпи немножко».

Как жаль, что нету очков, мне кажется, что это писал не он, мо­жет, Блошка меня разыграл и отомстил мне, наверное, они с Йоузо­вой сейчас где-нибудь за углом хохочут.

Хотя нет, не может быть. Этого бы Блошка никогда не сделал, наверное, папа шутит, чтобы меня развеселить, а я соображаю мед­ленно и ничего не понимаю. Про охрану тоже, наверное, шутка, Блошка — голова, он сразу сообразил, он в классе самый умный, Йоу­зова лучше учится, но куда ей до него.

Тогда он надо мной не смеялся, когда мы поругались, он только бежал за мной и говорил: все это нервы, Киса, нервы.

Но ведь это невозможно, чтобы мой папа был ненормальным, не­нормальными могут быть другие, почему именно он, мой папа?

Только как же он может стать генералом, ведь он такой неприметный? Меньше, чем я, и тощий, как комар, у него и медали на груди не поместятся, и носить их сил не хватит.

Он всегда пил кофе с ромом и мне давал понюхать, пар затуманивал стекла очков, и он вытирал их галстуком, он все время носил один и тот же, уже весь в пятнах. Деньги вечно искал по карманам, складывал их столбиками, и иногда хватало только на две трубочки, а то и на одну, и папа говорил: мне кофе не надо, возьми себе две.

Он приедет на «татре»! Но где же он ее возьмет? Кто ему даст?

Какая же я дура, папа шутит, чтобы позабавить меня, а я реву. Хоть бы бабка письмо не увидела, а то она тут же маме расскажет.

Вот и все, вот и горит, и буковки пылают и смеются, подмигивают мне, не бойся, Гедвика, это я просто так.

Но что же с папой на самом деле?

Мы снова идем в школу, мама и я. Марек шагает впереди, делает < вид, что не с нами. Катержинку мама везет в колясочке, она в комбинезоне, отороченном цигейкой, в белой шапочке, и каждый, кто проходит мимо, говорит, какая красивая девочка.

Я некрасивая, и белой шапочки у меня тоже нету. Мне холодно. Туман такой, как будто я без очков. Очки уже есть, я была у врачаи у оптика. Так радовалась, что выберу себе красивую оправу, ведь я теперь живу настоящем доме, оптик выложил их на прилавок целую гору, но мама выбрала именно ту, за которую не надо доплачивать. В этой, мол, ты мне больше нравишься.

Ну, как я могу в таких очках нравиться?

Не пойму, рада я или нет, что снова иду в школу. Скорее нет, потому что день пасмурный, включат свет — и я снова не буду ви­деть, что написано на доске.

Когда раньше я приходила после болезни в школу, мне всегда ка­залось, что ребята ушли далеко-далеко и мне их не догнать. Они буд­то становились другими, и училка говорила: Покорна, Покорна, опять у тебя пробел в

знаниях. Зимой у меня было больше пробелов, чем занятий. Пржемек смеялся: у тебя, мол, сыр сплошь из дыр.

— Ну что за дурацкий вид? Выпрямись, пожалуйста!

Она злится, что должна идти со мной в школу, никто ее не про­сил, могла остаться дома с Катержинкой, я бы справку от врача и сама отдала.

— У тебя просто ужасный вид.

Это я тоже знаю, в зеркале я еще могу себя разглядеть.

Брюки коротки, туфли жмут, карманы в пальто где-то под мыш­ками. Она связала мне жилет, каждая часть другого цвета, я в нем, как драный попугай.

— Поторапливайся, смотри, где Марек.

Когда она со мной говорит, у нее в голосе столько нетерпения.

Мы с Катержинкой ждем возле учительской. Дети носятся во­круг нас. Это не из нашего класса. Они строят рожицы Катержинке, а меня никто не замечает. Может, я невидимка, вот было бы здо­рово.

Звонок. Коридор затих.

Мама увела Катю, а я иду с нашей классной. Ни разу я еще не ходила с учительницей по коридору после звонка. Тишина такая, что кажется, вот-вот придавит.

— Послушай, девочка, ты, наверное, даже не понимаешь, как те­бе повезло. Тебя взяли такие люди, у них свои родные дети, и все-таки они взяли тебя в семью, а как ты их благодаришь? Ни учебой не ра­дуешь, ни поведением, все-таки надо немного стараться.

Что она болтает? Какие свои родные? А я? Я что, не родная, что ли?

— Все молчишь. Думаешь, кого-то переупрямишь? Ты уже не маленькая, могла бы взяться за ум.

Подошли к классу. За дверью ребята рычат, как тигры. Настоя­щий зоопарк.

— Ты хоть понимаешь, какая это жертва для них? Жертва? Почему? Эти учителя как кроссворд с загадкой. Открыла дверь. Все вскочили со своих мест и замолчали.

Но я заметила, как он кривлялся на кафедре. Я очень хорошо это видела. Он подпрыгивал и смеялся, хохотал как ни в чем не бы­вало, как будто меня и не знал, как будто меня и на свете не было, как будто мне не было грустно.

Подбежал к своей парте и остановился, стоит и улыбается. Йоу­зова рядом с ним. Воспользовалась случаем и села на мое место.

— Посажу-ка я тебя лучше к окну, Покорна. Только надо будет пригнуться, ты, кажется, еще вытянулась.

Дети смеются. Я сажусь и нарочно не смотрю на него, а он все равно смеется, пересмешник.

Рядом со мной сидит Барбора-балаболка, терпеть ее не могу. Си­дит на первой парте, потому что не может ни на минуту заткнуться, второгодница. Ее болтовни я не выдержу, и вообще все несут какую-то чушь, а о важном молчат.

Что значит жертва, кто мне объяснит? Какая это для мамы жерт­ва? Ведь я ей тоже родная, как Марек и Катержинка, но я уже боль­шая и могу помогать ей, беречь ее.

Не могу же я снова стать маленькой, чтобы она меня любила. Я люблю ее и большую. Пусть папа что хочет пишет, это моя мама Звездочка, и у меня есть настоящий дом.

— Покорна, не отвлекайся, ты ведь столько пропустила!

Встаю и снова сажусь, мне неприятно вставать, садиться, изви­няться. За окном такая отчаянная тоска, что кажется, когда на пере­менке откроем его, она ввалится внутрь.

На магазин самообслуживания села ворона. Как ей удается удер­жаться на кончике громоотвода? Если бы я была вороной, то не тор­чала бы на крыше, а расправила бы крылья и полетела.

Полетела бы к нам в детдом, села бы там за окошком, Саша бы испугалась, а Гита бы сказала, что эта ворона похожа на нашу Гедви­ку, потому что я, конечно, превратилась бы в белую ворону, раз я альбинос. Или стала бы белой голубкой и постучала бы к мальчикам в спальню, в окно бы не заглянула, ведь это нехорошо, только посту­чала бы и фррр — улетела.

— Ты сердишься, Гедвика?

Это Блошка меня догнал. Теперь он кажется еще меньше. А щеки красные и толстые, как у младенца.

Молчу. И он молчит. Только камешки ногой подбрасывает. Один отлетел ко мне. Подбиваю его носком.

И так мы перебрасываемся камешком — я ему, он мне.

— Ты хотел бы быть птицей?

Он посмотрел на меня, как будто я с луны свалилась. И снова стукнул ногой по камешку. Перебросил мне.

— Тебе грустно, Киса? Я не сумела отбить. Он остановился.

— Мама как назло встретила почтальоншу. Пришлось рассказать.

— Она не читала?

— Ну что ты? Чужое письмо! Только сказала, что лучше бы не писать, что тут необходимо хирургическое вмешательство.

Он стал красный, как помидор.

— Какое?

— Хирургическое. Просто прервать старые отношения, раз у тебя есть новые родители. Но я с ней не согласился.

— А ты можешь?

— Что?

— Не соглашаться?

Чему он удивляется? Мне еще никогда не приходило в голову, что можно не соглашаться со взрослыми. Не соглашаться с воспитательницей, или с вожатой, или не согласиться с Удавом.

— И ты ей это сказал?

— Само собой. Я сказал ей: послушай, мама, неужели ты думаешь, что меня от тебя можно отрезать? Или от папы?

— А она засмеялась?

— Нет, только посмотрела на меня.   
Мы зашли за угол. Порыв ветра налетел на нас, на этом месте меня всегда ветер сбивает с ног. Здесь Блошке поворачивать.

Но он идет со мной дальше. Пусть Йоузова злится.

— Мама говорила, что трудно взять в семью такого большого ребенка. Даже на пробу, и то это — нервный шок для обеих сторон.

— Как на пробу?

— А как тебя. Возьмут ребенка на пробу, и если он им не придется по вкусу, назад отдадут. Мама сказала, какая нелепость, иначе она бы и меня могла через неделю отдать, но некуда.

Он уже снова хохочет, так я и знала. Ничего не понимает, а смеет­ся. А мне больно, больно от его дурацкого смеха, все у меня болит, мне так плохо, так плохо, если бы я могла улететь, но приходится ходить по земле, и очень даже медленно, быстрее никак не полу­чается.

— Послушай, Киса, ты меня неправильно поняла, слышишь?

Я не хочу, чтобы он шел за мной, смотрел на меня, не хочу, чтоб со мной говорил, ни с кем не хочу говорить и никого не хочу видеть, мне надо уйти, уйти от всего этого подальше.

Господи! Очки! Целы, какое счастье!

— Ну и дура ты, Киса. Встань, ты что, встать не можешь? У тебя кровь течет, ты вся в земле, пошли, я отведу тебя в поликлинику, на­до сделать противостолбнячный укол.

— О себе беспокойся!

Остаться бы здесь лежать и не вставать никогда больше, я лежа­ла бы тут, как камень, и на меня капала бы вода, а потом снег, а по­том снова дождь, и выросла бы надо мной трава и цветы, и ничего бы мне не было нужно, только бы лежать и чтоб никто меня не видел.

Но все равно от этого никуда не денешься, я знаю, теперь я это точно знаю. Я случайно слышала, как она разговаривала с одной те-тей, но тогда я была еще глупая и ничего не понимала, и учительнице она сказала, что меня взяли из детского дома. Скрыла, что я ее дочь, ведь я ей родная, а она это скрыла, своего собственного ребенка взя­ла на пробу.

Встаю, надо встать, камешки врезались мне в ладонь, локоть бо­лит, колено жжет, на брюках дырка. Но мне плевать.

— И вид же у тебя.

— Ну так иди к Йоузовой.

Теперь он обиделся. Точно. Ну и пусть. Обойдусь. Они у меня тоже на пробу. Все.

Иду, прихрамывая, и высасываю кровь из ладони. Интересно, идет ли за мной Блошка? Но я не оглянусь, ни за что не оглянусь.

Она шьет мне пальто. Перешивает. Бабушка откопала в шкафу охотничью куртку столетней давности. Серую, в черную клетку. Ме­стами ворс сохранился, местами истерся.

— Это шотландка,— сказала бабушка,— чистая шерсть.

— Будет у тебя красивое и теплое пальто на зиму,— сказала мама.

Я ничего не сказала. Что ж, если я все еще не умею возражать.

Сижу у окна за складным столиком. Нам задали написать, как мы ждем рождество. Я бы хотела написать, что рождества вовсе не жду. Не радуюсь, потому что с нами все праздники будет Удав, он будет смотреть мне в тарелку и говорить слова, которых я не пони­маю. Не радуюсь, потому что у меня нет денег и я никому ничего не могу подарить. Даже поздравление не могу послать. Даже печенье не могу испечь, а попробовать мне дали только одно, подгоревшее. На балконе лежит заяц, у него на мордочке кровь, но мне нельзя его погладить. И с Катержинкой нельзя поиграть, говорят, я на нее пло­хо влияю.

Что Марек ее обижает и дразнит, это никого не волнует, он на­рочно отбирает у нее игрушки, чтобы она плакала, но они не счита­ют, что он на нее плохо влияет.

Дети получили к рождеству настенный ковер: на нем звери ле­зут в ковчег, звери нашиты из разных цветных лоскутков, очень кра­сиво, тигры, например, из полосатой материи, косуля в крапинку, жираф в клеточку, настоящая картина. Но только я не смогла все рассмотреть, мама сказала: отойди подальше, он стоит четыре тыся­чи триста.

Четыре с лишним, ужаснулась бабушка, по-моему, на детей это жалко. Но мама ее оборвала — на детей, мол, ничего не жаль, они с малых лет должны жить в красивой обстановке, чтобы из них вы­росли гармоничные личности.

Из меня гармоничная личность не вырастет, потому что для меня им всего жалко, и я живу между кухонными шкафчиками и газовой плитой, то мне в голову дует от окна, то будит холодильник, ворчит прямо в ухо. Вот хорошо, если Катержинка об этот ковер будет вы­тирать ручки своей куклы. Или свои, измазанные джемом и медом. Так еще лучше.

Из спальни слышен звук швейной машинки, а в детской визжит Катержинка, Марек смеется, наверное, играет с ней в лошадки или качает на качелях, качели и кольца висят в дверях, но я, говорят, слишком тяжелая.

— Гедвика, иди примерь. Надеваю на себя это старье.

— Стой прямо. Становлюсь прямо.

— Убери еще немного,— советует бабушка,— висит как на ве­шалке.

Мама сердится. В губах ежиком торчат булавки. Если бы она ме­ня сейчас поцеловала, пошла бы кровь.

Но она меня не поцелует, можно не беспокоиться. И не обнимет.

Она холодная и далекая. Я уже не зову ее Звездочкой, называю По­лярной звездой.

— Что ты морщишься? Я тебя уколола?

— Нет.

Поворачиваюсь по ее указанию кругом. Потом снова стою. И снова поворачиваюсь. Хоть бы скорее.

— Что ты такая замученная. Что с тобой?

— Ничего.

Мама вздохнула. Стащила с меня пальто. Уходит. Пусть уходит, ничего я у нее не прошу.

Из спальни слышно каждое слово:

— У тебя на нее аллергия, Вера. Но ведь это такая тихая де вочка.

— Почему же ты не оставила ее у себя?

— Я? Ну знаешь!

— Я бы тебе платила. И ты могла бы еще получать пособие в Национальном комитете.

— Требовать алименты, значит? А вы для этого слишком чистые, да? Сама заварила, сама и расхлебывай. Тогда достаточно было от­крыть окно, она и весила-то всего килограмм, а теперь ее уже не спровадишь со света.

Что скажет, что скажет мама? Что скажет мамочка?

Что она скажет на это?

Ведь должна же она ответить бабке?

Молчит.

Она, значит, молчит. Моя мама молчит.

Она молчала и тогда, когда у меня был жар и бабка впервые ске зала это, а я не поняла. Тогда она сказала это тоже совершенно спокойно, как будто я муха или муравей и меня можно было растоптать и идти дальше.

Достаточно было открыть окно.

Окно.

Открыть окно, и меня бы не было.

— Вера, девочка тебя любит.

— Но она ведь круглая дура. Это сказала мама. Моя мама.

И она права. Я была дура, что ее любила. За что? За то, что она красивая? Так ведь она ходит к косметичкам. Что добрая? Смотря к кому.

Теперь я ее больше не люблю, ни ее, ни бабку, они ничуть не лучше, чем Удав, но тот хотя бы чужой.

Достаточно было открыть окно, чтобы я умерла. Пусть откроют даже все окна во всей квартире, но я им такого удовольствия не до­ставлю, назло им не умру, назло.

Удивительно, пока я маму любила, мне было грустно, а теперь вдруг стало весело и легко. Так легко, как будто я сняла туфли, ко­торые жмут.

— Долго ты будешь возиться с уроками?

Я не поворачиваюсь. Притворяюсь, что не слышу. Наклоняюсь и пишу первую фразу: «Я очень рада рождеству».

Я еще никогда не видела, как убивают карпов. Мама купила жи­вых, чтобы доставить удовольствие детям. Катержинка чуть не це­ликом влезла в ванну, все хотела сунуть палец в рот рыбке.

Она совсем не боится. Набрызгали мы страшно, Марек бросал карпам крошки и забил сток. Хоть какое-то развлечение.

Теперь дети уже спят, меня бы тоже отправили, да некуда, ведь мое место в кухне. Удав в фартуке и с молотком, вид у него сви­репый.

Лютый, говорит Блошка. Ему хорошо, он справляет сочельник уже сегодня, у его мамы завтра дежурство. Будет вытаскивать рыбьи кости из горла. Папа его тоже пойдет на работу.

А наш ответственный работник, конечно, торчит дома. Жаль, что он не врач и у него нет дежурств. Или сам бы проглотил рыбью кость, оставил бы нас хоть на время в покое.

Блошку я долго не увижу, он едет кататься на лыжах, а в школу мы пойдем только после Нового года. Сегодня он сунул мне что-то в руку и закрыл ладонь, я посмотрела, а это кошечка, совсем малю­сенькая, фарфоровая, вся белая, только на шее голубая ленточка.

А я ему ничего не подарила, потому что у меня ничего нет, а без денег ничего не могу придумать. Но если получу что-нибудь на рож­дество, отдам ему; может, мне что-нибудь папа пришлет.

А как он пришлет, если Блошка уедет? Об этом мы совсем не по­думали. И по праздникам почтальон все равно не приходит.

Ой, как бьется карп. Стукнул хвостом перед самым носом Удава и шлепнулся на пол Теперь оба стараются его ухватить, головы под столом, одни зады торчат.

— Какой ты растяпа!

— Подожди, ты не достанешь.

— Не мешай мне!

— Ой, какой скользкий!

Пусть помучаются. Не буду им помогать, я болею за карпа. Все равно его есть не буду. Для детей будет шницель, интересно знать, кем они меня посчитают за ужином, Наверное, кошкой, нальют в миску молока и пошлют ловить мышей.

— Ну и злая же ты,— сердится Полярная звезда,— что тут смеш­ного!

Вовсе и не смешно, карпа уже поймали, Удав держит его в поло­тенце. Карп разевает рот, но не издает ни звука, не кричит.

Удав стукнул его, а карп молчит, только рот разевает, но ни зву­ка не слышно, конечно, он не согласен, но молчит, хочет позвать на помощь, но не может выдавить из себя ни звука.

Он, как и я, тоже молча не соглашается, кричит про себя, и его никто не слышит. Никто. Даже я.

Отрезают голову. Удав держит нож, а она стучит по ножу мо­лотком. Все руки в крови. А карп все кричит, и его все не слышно.

И вот она уже в стороне, бедная голова. Тело скребут, а голова это знает, лежит на дощечке и разевает рот, непонятно, кажется, хо­чет нам что-то сказать, но не может. Я знаю, она кричит, как я, что не согласна.

Не согласна, я не согласна.

— Смотри, ей дурно! На меня брызгают воду.

— Зачем же ты смотришь! — кричит мама.— Если ты такая не­женка, сядь в сторонке и не мешай!

— На, попей.

Удав дает мне воду с соком, на руке у него чешуя и кровь. И во­да в стакане красная.

А голова все кричит, ее не слышно, но она кричит, я знаю.

— Постели ей сегодня у меня в кабинете, а то когда еще мы тут управимся.

Мама моет руки. Она сердится, даже спина у нее злая. И руки, у нее бывают злые руки, холодные и жесткие.

Я легла. Мне плохо. Стоит закрыть глаза, и я вижу, как голова карпа разевает рот. Лучше не закрывать глаз. Ну и книг здесь. Сколь­ко же он прочитал? Если бы он был настоящий удав, было бы видно, как он эти книги заглатывает, он стал бы четырехугольный, как шкаф.

Здесь пахнет шоколадом, сигаретами и шоколадом, как в конди­терской, когда я сидела там с папой и он пил кофе, а я ела трубочки. Сколько раз продавщица делала нам замечание — неужели он не ви­дит табличку «Курить запрещается», а папа говорил: извините, я не заметил, и подмигивал мне.

Шаги. Кто-то идет. Скрипит паркет, дверь открывается, что это может быть, что-то лезет сюда, откуда здесь взялся лес, наверное, мне это снится.

Ну и трусиха же я, хорошо, что хоть не закричала, это просто-напросто елка. Он готовится к завтрашнему дню, у него все припря­тано где-то, потому такой запах.

Ну и елка, красотища! А сколько игрушек! Он будет наряжать до самого утра.

— Ты спишь?

Не откликаюсь. Мне и в голову не приходит, что ему нужно по­мочь.

Наверх прикрепил звезду, начинает развешивать игрушки. Стран­но, теперь он кажется совсем хорошим. Вот так, поздно вечером он готовит сюрприз для детей, а ведь у него столько работы и такая от­ветственность.

Наверное, он их любит, свою дочь-врача, и Марека, и больше всех маленькую Катержинку. Настоящие удавы, наверное, тоже лю­бят своих детей, и тигры любят своих тигрят, но только своих, чужих они съедают.

Такой красоты я еще никогда не видела, настоящий дом — это все-таки настоящий дом, что правда, то правда. Как наша мама умеет украсить праздничный стол! Мы с Мареком помогаем, бабушка нян­чит Катержинку.

Скатерть белая как снег, который только что упал на землю, и на ней два подсвечника с еловыми ветками и шишками и букет живых цветов, что цветут только весной, и тарелки с золотым обод­ком, и приборы из коробки. У каждого глубокая и мелкая тарелка, и маленькая тарелочка, и двойной прибор, и еще ложечка. А рюмок у каждого по три, одна высокая, одна широкая, а третья какая? Ну, предположим, глазастая. Возле каждой тарелки веточка омелы с ша­риком, только у Катержинки без шарика, чтобы не совала его в рот. Наряженную елку видела только я, для детей это сюрприз, кабинет заперт, там Ежишек будет раздавать подарки. В детдоме раздавал дед-мороз.

Мама нервничает, а он в хорошем настроении, даже на удава не похож, утром сказал: ну что, Гедвика, как спалось, не сыпались на тебя иголки?

Я сказала, что нет, а он засмеялся, он, мол, не смог бы лежать под елкой и не сорвать ни одной конфеты, и я тоже стала смеяться, потому что ночью сорвала четыре и все съела, а серебряную бумагу скатала и забросила за диван.

Если бы тут с нами был папа, вот бы у него слюнки текли.

Ужинать будем рано из-за Катержинки, как только чуть стемне­ет, господи, это называется сборная закуска, красиво так, что есть жалко.

Если бы тут с нами был папа, вот бы у него слюньки текли.

— Переоденься, Гедвика! И ты, Марек, тоже.

Бабушка уже нарядила Катержинку в розовое платьице с волан­чиками, она выглядит в нем как принцесса из сказки. Мое празднич­ное платье колется, к счастью, мама открыла окно, чтобы студень не потек, если не будет жарко, оно, может, будет меньше колоться.

— Ну и ну, Верушка.

Удав смотрит на маму, мы все смотрим на нее, на ней черная юбка до полу и блузка вся кружевная, мама такая красивая, такая ужасно, невероятно красивая, что от нее веет холодом и становится страшно.

И я уже не верю, что она моя мама, я ведь знаю, откуда берутся дети, Гита мне объяснила, но у этой красивой пани в кружевах ведь не могло же быть ничего общего с моим несчастным папой, который прячет шею в потрепанный воротник пальто и ищет мелочь, чтобы купить мне пирожное-трубочку.

Поднимают бокалы, у меня лимонад, как у детей, я тоже подни­маю бокал, чокаюсь с бабушкой, потому что и она здесь чужая, только не знает об этом.

Мне накладывают закуску из блюда, я взяла не тот прибор, но мне все равно, не так уж это аппетитно, как выглядит, обыкновен­ные овощи и яйца, а дрожащий студень совсем безвкусный.

От супа несет карпом, его сварили из той головы, что разевала рот, а теперь лежит в кухне в дуршлаге. Ничего не помогло ей, хоть она и была не согласна.

— Что с тобой? Да что же это такое?

Я выбегаю, мне плохо, она сказала еще, что я невыносимая. Эта девчонка невыносима, сказала красивая пани в кружевах, она может испортить человеку самые лучшие минуты.

Я заперлась.

— Что ты съела?

Бабушка из-за двери слышит, конечно, как мне плохо.

Ничего я не съела, только кусочек сдобы и какао, печенье у нее на блюдах уложено так аккуратно, что было бы видно, возьми я да­же одно. Мне плохо от этого супа.

Бабушка снова ведет меня в комнату, на пороге останавливает­ся и минуту стоит, как будто только сейчас поняла, что мы с ней здесь чужие.

— Возьми шницель, Гедвика, ты можешь подавиться рыбной костью.

Опять у нее нетерпеливый голос.

Кладу шницель на тарелку с золотым ободком, кладу салат, и мне кажется странным, что я сижу здесь, за праздничным столом с на­рядно одетыми людьми, и про себя повторяю, что это в самом деле я, Гедвика Покорна, и что это мой настоящий дом.

— А теперь сюрприз.

— Ежишек! — вскакивает Марек.

— Еще нет, погоди, еще все впереди.

Мы смеемся, получилось в рифму, и это смешно. И я смеюсь вме­сте с ними.

Сюрприз — это горящее мороженое, такого я в жизни не видела и про такое не слышала. Как это мороженое засунули внутрь, один бог знает, мама принесла его на блюде в красивой обертке из раз­ноцветного снега, налили на него спиртное из двух бутылок, из каждой понемногу, и Удав зажег, пламя было красное и зеленое, вспыхнуло и погасло и обожгло снег, а теперь мы едим это лакомство.

Когда я расскажу об этом нашим ребятам, у них глаза на лоб по лезут.

Горят только свечки, и огоньки мигают на потолке, Марек рассел­ся на стуле, а Катержинка все время спрашивает, когда же придет Ежишек, я бы ее так долго не мучила, ведь ей уже скоро спать.

Звенит звоночек, и открываются двери, я знала, что елка в каби­нете, но теперь она вся сверкает цветными лампочками, переливается золотыми и серебряными нитями, поворачивается на подставке, а са­ма подставка играет.

А подарков — жуть!

Сколько коробок и пакетов!

Удав нарочно притворяется, что не может прочесть, кому что, и сначала дает все Катержинке — заводную куклу, которая непонятно говорит по-немецки, к ней коляску с детишками, велосипед с малень­кими колесиками по бокам, чтоб не упала, а Мареку лыжи и все хок­кейное снаряжение, даже маску, и кукольный театр, и целую кучу книг, я бы их до самой смерти не прочитала.

— Гедвика,— говорит Удав и протягивает мне пакет, перевязан­ный золотой ниткой, за ней веточки елки и омелы, я укололась о про­волочку, пакет большой, с трудом обхватываю его, в этот момент ма­ма вскрикнула, потому что он накинул ей на плечи шубу, воротник пушистый и мягкий, таких красивых зверей, наверное, не бывает и на свете, и маме идет, очень идет. Она повисла у него на шее, вся раскраснелась, а он смеется и говорит, а мне, мне что же? Ага, вот!

Я уже ничего не вижу, распаковываю свой подарок, сердце бьет­ся, бумага шуршит, не могу развязать, перекусила нитку, разворачи­ваю... пальто. То самое пальто, которое мне примеряли, и сапоги, кото­рые я ношу уже две недели, поэтому сегодня я не могла их найти.

Здесь ужасно воняет бенгальскими огнями, я задыхаюсь, кашляю и выхожу, они там кричат и визжат и облизываются, а я тихо иду на кухню.

Сажусь на стул и кашляю, здесь стоят блюда с печеньем и фрук­тами, от ярких красок больно глазам, локтем я попала в грязную та­релку, по ней растекся студень.

— Тебе опять плохо?

Бабушка пришла ко мне. Я чищу рукав, она намочила полотенце в теплой воде и помогает мне.

— Эти сапоги стоили триста с лишним, Гедвика, у тебя же не детский размер.

Я чешусь.

— Платье колется.

— Какая ты чувствительная.

Я вытираю очки, а она раскрывает пакет, который получила, до­стает оттуда сотню и говорит:

— Возьми, пусть у тебя будет хоть это от меня.

Я молчу, протираю очки, а она кладет сотню на стол, берет блю­да и несет их в комнату.

Я вижу эту сотню и хочу оставить ее, пусть лежит, как переши­тое пальто и сапоги, что я ношу уже две недели, но я беру ее потому, что не могу ехать без денег.

Теперь я точно знаю, что сяду в поезд и поеду, я знала это давно, только, видно, не понимала этого.

Надеваю свое старое пальто и туфли, выхожу, двери дома хло­пают за мной, и я рада. На улице сыро, холодно, тихо. Здесь никого нет, за окнами горят цветные огоньки, а на одном балконе я вижу красивую птицу. Но она мертвая и висит вниз головой.

Хорошо, что электричка только до Опавы, мне страшно хочется спать, В скором надо было следить, чтобы не пропустить станцию, там было жарко, я боялась, что у меня под ногами поезд загорится, так там топили.

В электричке холодно, я не знаю, сколько мы простоим на вок­зале. На больших часах не вижу, а своих нет. Лимонада не было, только кофе и пиво, я купила пиво в бумажном пакете, страшно хоте­лось пить. Пиво жутко горькое, но я одним духом выпила целый ста­кан. Теперь у меня тяжелые ноги и глаза слипаются.

Но это ничего, вздремну немного, а в Опаве, конечно, проснусь, когда будут все выходить. В Катержинки идет автобус, деньги есть, я потратила только на билет, пиво и сосиску.

Попрошу, чтобы ему разрешили выйти, раз меня не пускают, пой­дем вместе в кондитерскую, сегодня платить буду я. И скажу: спо­койно заказывай себе два кофе, денег у меня хватит.

И еще скажу ему: ты думал, я поверю этой сказке про генерала, а он засмеется — я знаю, Гедвика, ты умница, никто тебя не про­ведет.

И мы станем жить вместе, я могу убирать и готовить, кофе сварю, булку или пирог куплю, а горящее мороженое и студень нам ни к чему.

— Вставай! Спишь как убитая, мы чуть не повезли тебя обратно в Остраву.

Мигом выскакиваю из поезда. Когда же я уснула? Ноги затекли, я их отсидела, и холодно было, а здесь дует, ветер чуть не сбил ме­ня с ног.

Можно было пальто и сапоги все-таки взять, хоть не мерзла бы, но пусть они ими подавятся, мой папа купит мне лучше. Может, его и правда сделают генералом, тогда он купит мне и шубу из пушисто­го меха, и мне всегда будет тепло.

Авось по пути согреюсь, надо было все-таки взять хоть шапку и шарф, подниму воротник, как папа.

Дорогу я нашла легко, даже спрашивать никого не пришлось, не хотелось рот открывать, чтобы пивом не пахло. Здесь магазин от­крыт, куплю мятные конфеты, тогда смогу говорить.

Соображаю, ведь правда?

Можно было взять в карман финики, или печенье, или апельсин, но пусть обжираются со своими Маречеком и Катержиночкой. Катержинка из Катержинек, вот это да, надо бы рассказать Блошке.

Если его еще когда-нибудь увижу. Но, наверное, мы с папой пе­реедем в Прагу, генералы ведь живут в столице.

Ого, какая громадная больница! Как же я папу здесь найду? И такая печальная. Все здесь мрачное, не удивительно, что папа тоску­ет, и дома печальные, и деревья, и вороны, они печальнее всего.

Надо найти какую-нибудь сестричку, она мне посоветует, где его искать. Раз его почтальон находит, то и я найду.

— Чего тебе?

Тьфу, как я испугалась, окошечка-то я и не заметила. За ним си­дит старичок, смотрит одним глазом, и рот у него кривой, может, он тоже псих.

— Кого ищешь?

Скажу ему, может, он знает папу.

— Покорный? Что? Альберт? Покорный Альберт? Покорный, го­воришь?

Глухой он, что ли? Шаркающей походкой идет к каким-то две­рям, там, значит, проход. Но мне гуда не попасть, через окошко ведь я не пролезу.

— Эдита, Покорный Альберт, это не тот? Тот вроде был По­корный?

— Конечно, тот, из-за кого Ярек выговор получил.

— Можно ей сказать, что повесился?

— Кому?

— Да тут какая-то дочка. Из семьи, верно.

— Вы недослышали, у него, кажется, семьи не было. У Покорно­го не было никого.

Оба выходят из дверей. Старичок и сестричка.

— Это ты спрашивала Альберта Покорного? Молчу.

— Кто же ты?

— Никто.

Убегаю. Они что-то кричат мне вслед, но я ничего не хочу слы­шать, потому что не существую. У него не было никого, значит, я ни­кто. Никто.

Вот обманщик, вот врун! Я, конечно, никто. Сначала пишет глу­пости, а потом преспокойненько на меня плюет. Генерал, так я и по­верила. Наобещал мне бог знает чего, а потом взял да и отправился на тот свет. И не было у него никого, говорят, никого, а обо мне и упоминать не к чему, он от меня отказался, стыдился меня, как и она.

И вообще мне его ничуточки не жаль. Пусть будет мертвый, раз он такой. Я о нем думала каждый день, а он обо мне даже не вспом­нил.

Садится туман. Это хорошо, по крайней мере никто меня не уви­дит и не услышит, может, я совсем в нем потеряюсь, как теряются деревья, и кусты, и дома, а от автомобилей остаются только тусклые огоньки, и ничего больше.

Я иду все время совсем одна по мокрой дороге, которая никуда не ведет, все на ней и вокруг нее исчезает, и я тоже растаю и исчез­ну, и никто обо мне не вспомнит.

Съем еще конфету, пока она не растаяла вместе со мной, кон­фет жалко, и двадцати крон жалко, конфета растает во рту, и ниче­го от нее не останется.

Здесь какие-то дома, господи, как ноги болят, гудит автобус, это он мне, странно, я осталась, а туман рассеялся. Это просто невероят­но, какая красивая витрина. Как из сказки про двенадцать месяцев, кругом зима, вокруг замерзшая холодная слякоть, я еле держусь на ногах, а за стеклом весна. Жаль, что здесь столько света, надо напря­гать глаза, это сирень, возможно ли? А вот этих цветов я не знаю, не могу узнать, вон там ландыши, и остальные цветы тоже белые.

Белые, как я.

Однажды я попросила тушь и накрасила брови и ресницы, и Пржемек сказал: молодец, коровушка, теперь ты девчонка, как все.

Что там делают ребята, интересно, который час? На улице ни ду­ши, наверное потому, что рождество и так холодно. Этим цветочкам, видать, тоже холодно, они такие же печальные и так же съежились, как и я. А какие красивые!

Взять бы мне хоть один стебелек ландыша с собой, он звенел бы, а я шла бы за ним, и он бы отвел меня домой. Только не в настоя­щий дом, а в детский.

Но приходится идти самой.

Руки суну в карманы, закоченели от холода. Что это там, такое твердое и холодное, а, кошечка, белая кошечка, которую дал мне Блошка. Давным-давно, когда я была еще совсем глупая.

Она помещается в ладони целиком. Тебе холодно, кисонька? По­терпи, не бойся, теперь я найду, ты не бойся, мы дойдем, ведь мы вместе,— значит, дойдем.